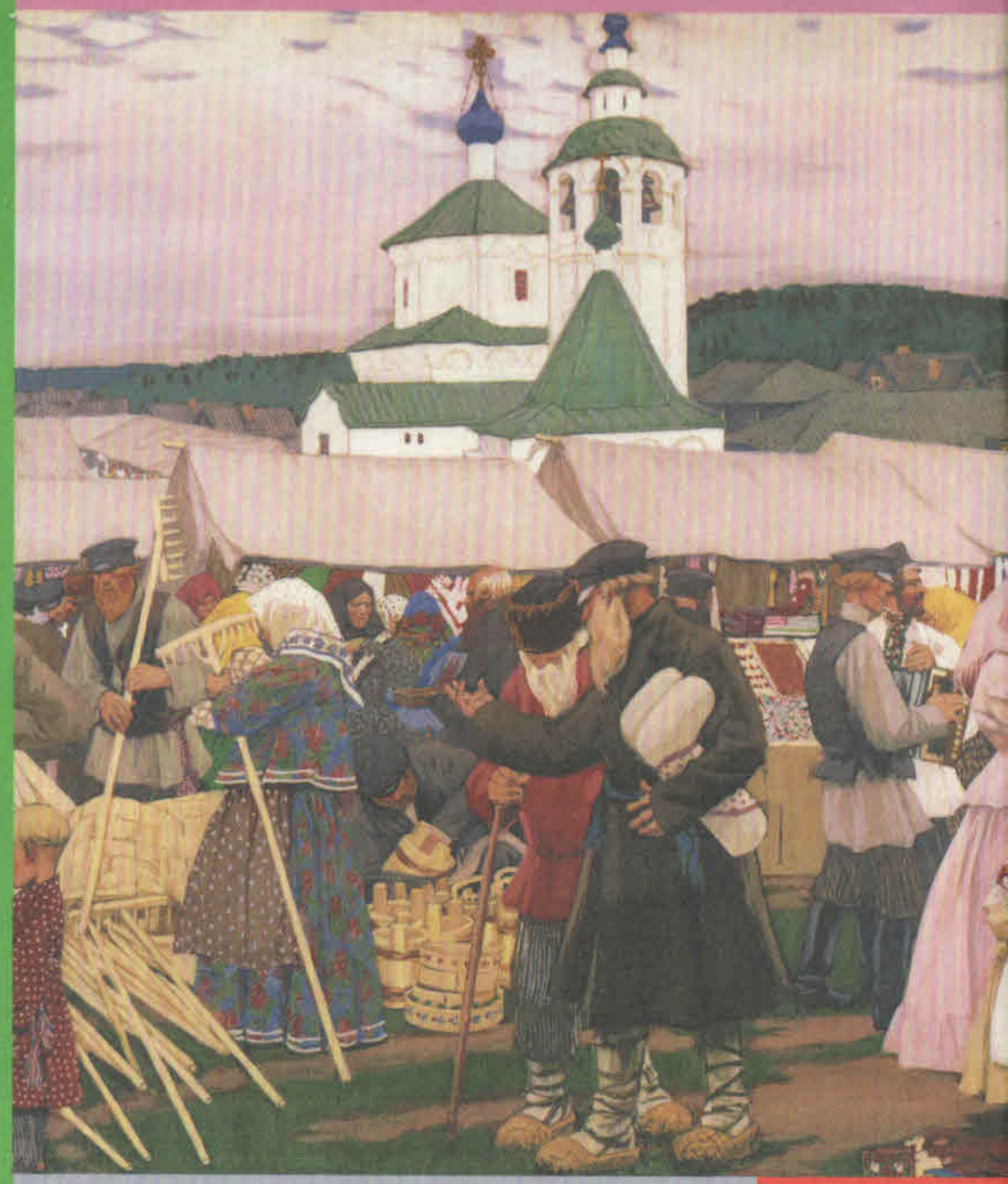
ЛИТЕРАТУРА





ЧАСТЬ 2

7

ПРОСВЕЩЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

№ 131 6.06.12г.



А. К. Саврасов. «Радуга»

Туча

Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.

Ты небо недавно кругом облегала,
И молния грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.

Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.

А. С. Пушкин



ЛИТЕРАТУРА

7 КЛАСС

Учебник
для общеобразовательных
учреждений

В двух частях

Часть 2

Автор-составитель В. Я. Коровина

Рекомендовано
Министерством образования и науки
Российской Федерации

17-е издание

Москва «Просвещение» 2009

УДК 373.167.1:82.0
ББК 83я72
Л64

На переплете — фрагменты репродукций картин
Б. М. Кустодиева

На учебник получены положительные заключения
Российской академии наук (№ 10106–5215/15 от 31.10.2007)
и Российской академии образования
(№ 01–249/5/7д от 15.10.2007)

Литература. 7 кл. Учеб. для общеобразоват. учреж-
Л64 дений. В 2 ч. Ч. 2 / авт.-сост. В. Я. Коровина. —
17-е изд. — М. : Просвещение, 2009. — 303 с. : ил. —
ISBN 978-5-09-021121-5.

УДК 373.167.1:82.0
ББК 83я72

ISBN 978-5-09-021121-5(2)
ISBN 978-5-09-021120-8(общ.)

© Издательство «Просвещение», 2001, 2007
© Художественное оформление. Издательство «Просвещение», 1998, 2003, 2007
Все права защищены

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА



Иван Алексеевич БУНИН

1870—1953

И проза ваша и стихи с одинаковой красотой и силой раздвигали перед русским человеком границу однообразного бытия, щедро одаряя его сокровищами мировой литературы, прекрасными картинами иных стран, связывая воедино русскую литературу с общечеловеческим на земле.

М. Горький

В майские дни 1887 года из почтового отделения в Озерках, Елецкого уезда Орловской губернии, шел семнадцатилетний юноша, рвал в лесу росистые ландыши и перечитывал стихотворение, напечатанное в журнале «Родина».

Стихотворение кончалось так:

Грустно видеть, как много страданья,
И тоски, и нужды на Руси!

Это было первое опубликованное стихотворение Ивана Бунина, связанное с впечатлениями его детства и юности.

Иван Алексеевич Бунин родился в Воронеже в 1870 году; детство и юность провел в деревне. Он так писал о себе: «Я происхожу из старого дворянского рода, давшего Рос-

сии немало видных деятелей... где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из корифеев[1] русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальхи».

Отец Бунина, Алексей Николаевич, в молодости был офицером, участвовал в обороне Севастополя в 1854—1855 годах, потом жил беззаботно, широко... Это был вспыльчивый, беспечный, но в общем добродушный человек. Разорившись, он поселился на хуторе Озерки...

Жизнь на хуторе, общение с крестьянами, с народом отразились в лучших произведениях Бунина. «Тут, — писал он, — в глубочайшей полевой тишине, среди богатейшей по черноземе и беднейшей по виду природы, летом среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам, а зимой среди сугробов, и прошло все мое детство, полное поэзии печальной и своеобразной...» На развитие литературного дара юноши влияла не только окружающая его природа, но и среда, близкие люди. Бунин говорит о влиянии, которое имел на него его воспитатель, обедневший дворянин, скитавшийся по деревням и усадьбам, начитанный, образованный, много видевший на своем веку человек. От него Бунин слышал о Гоголе. Мальчик запомнил этот рассказ после того, как прочитал «Страшную месть» Гоголя...

С особенной теплотой и сердечностью Бунин вспоминал своего старшего брата, Юлия Алексеевича. Именно Юлий Бунин пробудил в младшем брате любовь к книгам...

С 1888 года имя Бунина начинает появляться в книжках «Недели», где часто печатались произведения Льва Толстого и Щедрина.

Литературная судьба Бунина складывалась счастливо. Критика в общем хвалила его произведения, его именовали «певцом осени, грусти и дворянских гнезд», отдавали должное его прекрасному языку. От бывших крепостных крестьян Бунин услышал рассказы о печальном прошлом, о крепостном праве, услышал народные поэтические сказания.

[1] *Корифе́й* — выдающийся деятель на каком-либо поприще; например: корифей русской науки.

В рассказах Бунина о деревне поражает точность, подлинность крестьянской речи, в других рассказах восхищает язык разных слоев общества, переход к повествованию от автора, высокие достоинства его переводов с английского, французского...

В начале 1905 года Бунин поселяется в Москве, сближается с А. М. Горьким, А. П. Чеховым и другими видными писателями. Он много странствует по Европе и Азии.

Признанный мастер прозы, Бунин был верен и поэзии.

Долгие годы большой русский писатель Иван Бунин прожил вдали от родины, с которой был связан лучшими своими произведениями, и умер в Париже 8 ноября 1953 года. До конца жизни он тосковал о родине. В стихотворении 1922 года с горечью писал:

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!

Это был даровитейший художник слова, замечательный русский писатель, создавший правдивые картины ушедшей в прошлое русской жизни.

По Л. В. Никулину

В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ И. А. БУНИНА

Я всю жизнь испытываю муки Тантала[1]. Всю жизнь страдаю оттого, что не могу выразить того, что хочется... как сказать обо всей этой красоте, как передать эти краски, за этим желтым лесом дубы, их цвет, от которого изменяется окраска неба...

Какая мука наше писательское ремесло... А какая мука найти звук, мелодию рассказа, — звук, который определяет все последующее!

И. Бунин

[1] *Танта́л* — по древнегреческому мифу, лидийский царь, осужденный Зевсом на вечные муки голода и жажды.

* * *

«...Бунина надо читать, читать самому и навсегда отказаться от жалких попыток рассказывать обыденными, не бунинскими словами о том, что написано им с классической силой и четкостью...

Срединная наша Россия предстает у Бунина в прелести серых деньков, покое полей, дождях и туманах, а порой — в бледной лучезарности, в тлеющих широких закатах, — писал К. Г. Паустовский. — Здесь уместно будет сказать, что у Бунина было редкое и безошибочное ощущение красок и освещения.

Мир состоит из великого множества соединения красок и света. И тот, кто легко и точно улавливает эти соединения, — счастливейший человек, особенно если он художник или писатель.

В этом смысле Бунин был очень счастливым писателем. С одинаковой зоркостью он видел все — и среднерусское лето, и пасмурную зиму, и „скудные, свинцовые, покойные дни поздней осени“, и море, „которое из-за диких лесистых холмов вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней“...

В записках Бунина есть одна короткая фраза. Она относится к началу лета 1906 года. „Начинается пора прелестных облаков“, — записал Бунин и этим как бы открыл нам одну из „тайн“ своей писательской жизни. Эти слова — о приближении неизбежного и милого труда, связанного у Бунина с летней порой, „порой облаков“, „порой дождей“, „порой цветения“.

Этими четырьмя словами Бунин отмечает начало своей работы по наблюдению за небом, по изучению облаков, всегда таинственных и притягательных.

...Бунин одинаково остро и тонко видел все, что привелось ему увидеть в жизни. А видел он очень много, с юных лет заболев скитальчеством, непокоем, жаждой непременно увидеть все, до той поры невиданное.

Он признавался, что никогда не чувствовал себя так прекрасно, как в те минуты, когда ему предстояла большая дорога.

Глядя из окна вагона на тень от паровозного дыма, таявшую в прозрачном воздухе, Бунин сказал: „Какая радость — существовать! Только видеть, хотя бы видеть

лишь один этот дым и этот свет. Если бы у меня не было рук и ног и я бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то я был бы счастлив этим. Одно нужно — только видеть и дышать. Ничто не дает такого наслаждения, как краски. Я привык смотреть. Художники научили меня этому искусству... Поэты не умеют описывать осень, потому что они не описывают красок и неба“.

Бунин говорил, что, начиная писать о чем бы то ни было, прежде всего он должен „найти звук“: „Как скоро я его нашел, все остальное дается само собой...“

Что это значит — „найти звук“? Очевидно, в эти слова Бунин вкладывал гораздо большее значение, чем кажется на первый взгляд.

„Найти звук“ — это найти ритм прозы и найти основное ее звучание. Ибо проза обладает такой же внутренней мелодией, как стихи и как музыка...

Это чувство ритма прозы и ее музыкального звучания, очевидно, органично и коренится также в прекрасном знании и тонком чувстве родного языка. Даже в детстве Бунин остро чувствовал этот ритм. Еще мальчиком он заметил в прологе к пушкинскому „Руслану“ кругообразное легкое движение стихов („ворожбу из кругообразных непрестанных движений“):

И днем — и ночью — кот — ученый — все ходит — по цепи — кругом...

В области русского языка Бунин был мастером непревзойденным... Из необъятного числа русских слов он безошибочно выбирал для каждого своего рассказа слова наиболее живописные, наиболее сильные, связанные какой-то незримой и почти таинственной связью с повествованием и единственно для этого повествования необходимые.

Каждый рассказ и каждое стихотворение Бунина подобно магниту, который притягивает из самых разных мест все драгоценные частицы, нужные для этого рассказа. Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен. Но вместе с тем он необыкновенно богат в образном и звуковом отношениях...»

Вопрос и задание

1. Как на развитие литературного дара будущего писателя повлияла окружающая его природа, среда?
2. Подготовьте небольшое сообщение об И. А. Бунине и особенностях его творчества на основании высказываний К. Г. Паустовского.

Цифры

I

Мой дорогой, когда ты вырастешь, вспомнишь ли ты, как однажды зимним вечером ты вышел из детской в столовую, остановился на пороге, — это было после одной из наших ссор с тобой, — и, опустив глаза, сделал такое грустное личико?

Должен сказать тебе: ты большой шалун. Когда что-нибудь увлечет тебя, ты не знаешь удержу. Ты часто с раннего утра до поздней ночи не даешь покоя всему дому своим криком и беготней. Зато я и не знаю ничего трогательнее тебя, когда ты, насладившись своим буйством, притихнешь, побродишь по комнатам и наконец подойдешь и сиротливо прижмешься к моему плечу! Если же дело происходит после ссоры и если я в эту минуту скажу тебе хоть одно ласковое слово, то нельзя выразить, что ты тогда делаешь с моим сердцем! Как порывисто кидаешься ты целовать меня, как крепко обвиваешь руками мою шею, в избытке той беззаветной нежности, той страстной нежности, на которую способно только детство!

Но это была слишком крупная ссора.

Помнишь ли, что в этот вечер ты даже не решился близко подойти ко мне?

— Покойной ночи, дядечка, — тихо сказал ты мне и, поклонившись, шаркнул ножкой.

Конечно, ты хотел после всех своих преступлений показаться особенно деликатным[1], особенно приличным и кротким мальчиком. Нянька, передавая тебе единственный, известный ей признак благовоспитанности, когда-то

[1] *Деликáтный* — вежливый, мягкий в обращении.

учила тебя: «Шаркни ножкой!» И вот ты, чтобы задобрить меня, вспомнил, что у тебя есть в запасе хорошие манеры. И я понял это — и поспешил ответить так, как будто между нами ничего не произошло, но все-таки очень сдержанно:

— Покойной ночи.

Но мог ли ты удовлетвориться таким миром? Да и лукавить ты не горазд еще. Перестрадав свое горе, твое сердце с новой страстью вернулось к той заветной мечте, которая так пленяла тебя весь этот день. И вечером, как только эта мечта опять овладела тобою, ты забыл и свою обиду, и свое самолюбие, и свое твердое решение всю жизнь ненавидеть меня. Ты помолчал, собрал силы и вдруг, торопясь и волнуясь, сказал мне:

— Дядечка, прости меня... Я больше не буду... И, пожалуйста, все-таки покажи мне цифры! Пожалуйста!

Можно ли было после этого медлить с ответом? А я все-таки помедлил. Я, видишь ли, очень, очень умный дядя...

II

Ты в этот день проснулся с новой мыслью, с новой мечтой, которая захватила всю твою душу.

Только что открылись для тебя еще не изведанные радости: иметь свои собственные книжки с картинками, пенал, цветные карандаши — непременно цветные! — и выучиться читать, рисовать и писать цифры. И все это сразу, в один день, как можно скорее. Открыв утром глаза, ты тотчас же позвал меня в детскую и засыпал горячими просьбами: как можно скорее выписать тебе детский журнал, купить книг, карандашей, бумаги и немедленно приняться за цифры.

— Но сегодня царский день, все заперто, — соврал я, чтобы оттянуть дело до завтра или хоть до вечера: уж очень не хотелось мне идти в город.

Но ты замотал головою.

— Нет, нет, не царский! — закричал ты тонким голоском, поднимая брови. — Вовсе не царский, — я знаю.

— Да уверяю тебя, царский! — сказал я.

— А я знаю, что не царский! Ну, пожа-алуйста!

— Если ты будешь приставать, — сказал я строго и твердо то, что говорят в таких случаях все дяди, — если ты будешь приставать, так и совсем не куплю ничего.

Ты задумался.

— Ну, что ж делать! — сказал ты со вздохом. — Ну, царский, так царский. Ну, а цифры? Ведь можно же, — сказал ты, опять поднимая брови, но уже басом, рассудительно, — ведь можно же в царский день показывать цифры?

— Нет, нельзя, — поспешно сказала бабушка. — Придет полицейский и арестует... И не приставай к дяде.

— Ну, это-то уж лишнее, — ответил я бабушке. — А просто мне не хочется сейчас. Вот завтра или вечером — покажу.

— Нет, ты сейчас покажи!

— Сейчас не хочу. Сказал — завтра.

— Ну, во-от, — протянул ты. — Теперь говоришь — завтра, а потом скажешь — еще завтра. Нет, покажи сейчас!

Сердце тихо говорило мне, что я совершаю в эту минуту великий грех — лишаю тебя счастья, радости... Но тут пришло в голову мудрое правило: вредно, не полагается баловать детей.

И я твердо отрезал:

— Завтра. Раз сказано — завтра, значит, так и надо сделать.

— Ну, хорошо же, дядька! — пригрозил ты дерзко и весело.— Помни ты это себе!

И стал поспешно одеваться.

И как только оделся, как только пробормотал вслед за бабушкой: «Отче наш, иже еси на небеси...» и проглотил чашку молока, — вихрем понесся в зал. А через минуту оттуда уже слышались грохот опрокидываемых стульев и удалые крики...

И весь день нельзя было унять тебя. И обедал ты наспех, рассеянно, болтая ногами, и все смотрел на меня блестящими странными глазами.

— Покажешь? — спрашивал ты иногда. — Непременно покажешь?

— Завтра непременно покажу, — отвечал я.

— Ах, как хорошо! — вскрикивал ты. — Дай Бог поскорее, поскорее завтра!

Но радость, смешанная с нетерпением, волновала тебя все больше и больше. И вот, когда мы — бабушка, мама и я — сидели перед вечером за чаем, ты нашел еще один исход своему волнению.

III

Ты придумал отличную игру: подпрыгивать, бить изо всей силы ногами в пол и при этом так звонко вскрикивать, что у нас чуть не лопались барабанные перепонки.

— Перестань, Женя, — сказала мама.

В ответ на это ты — трах ногами в пол!

— Перестань же, деточка, когда мама просит, — сказала бабушка.

Но бабушки-то ты уж и совсем не боишься.

Трах ногами в пол!

— Да перестань, — сказал я, досадливо морщась и пытаясь продолжать разговор.

— Сам перестань! — звонко крикнул ты мне в ответ, с дерзким блеском в глазах, и, подпрыгнув, еще сильнее ударил в пол и еще пронзительнее крикнул в такт.

Я пожал плечом и сделал вид, что больше не замечаю тебя.

Но вот тут-то и начинается история.

Я, говорю, сделал вид, что не замечаю тебя. Но сказать ли правду? Я не только не забыл о тебе после твоего дерзкого крика, но весь похолодел от внезапной ненависти к тебе. И уже должен был употреблять усилия, чтобы делать вид, что не замечаю тебя, и продолжать разыгрывать роль спокойного и рассудительного.

Но и этим дело не кончилось.

Ты крикнул снова. Крикнул, совершенно позабыв о нас и весь отдавшись тому, что происходило в твоей переполненной жизнью душе, — крикнул таким звонким криком беспричинной, божественной радости, что сам Господь Бог улыбнулся бы при этом крике. Я же в бешенстве вскочил со стула.

— Перестань! — рявкнул я вдруг, неожиданно для самого себя, во все горло.

Какой черт окатил меня в эту минуту целым ушатом злобы? У меня помутилось сознание. И надо было видеть,

как дрогнуло, как исказилось на мгновение твое лицо молнией ужаса!

— А! — звонко и растерянно крикнул ты еще раз.

И уже без всякой радости, а только для того, чтобы показать, что ты не испугался, криво и жалко ударил в пол каблуками.

А я — я кинулся к тебе, дернул тебя за руку, да так, что ты волчком перевернулся передо мною, крепко и с наслаждением шлепнул тебя и, вытолкнув из комнаты, захлопнул дверь.

Вот тебе и цифры!

IV

От боли, от острого и внезапного оскорбления, так грубо ударившего тебя в сердце в один из самых радостных моментов твоего детства, ты, вылетевши за дверь, закатился таким страшным, таким пронзительным альтом, на какой не способен ни один певец в мире. И надолго, надолго замер... Затем набрал в легкие воздуху еще больше и поднял альт уже до невероятной высоты...

Затем паузы между верхней и нижней нотами стали сокращаться, — вопли потекли без умолку. К воплям прибавились рыдания, к рыданиям — крики о помощи. Сознание твое стало проясняться, и ты начал играть, с мучительным наслаждением играть роль умирающего.

— О-ой, больно! Ой, мамочка, умираю!

— Небось, не умрешь, — холодно сказал я. — Покричишь, покричишь, да и смолкнешь.

Но ты не смолкал.

Разговор, конечно, оборвался. Мне было уже стыдно, и я зажигал папиросу, не поднимая глаз на бабушку. А у бабушки вдруг задрожали губы, брови, и, отвернувшись к окну, она стала быстро, быстро колотить чайной ложкой по столу.

— Ужасно испорченный ребенок! — сказала, нахмуриваясь и стараясь быть беспристрастной, мама и снова взялась за свое вязанье. — Ужасно избалован!

— Ой, бабушка! Ой, милая моя бабушка! — вопил ты диким голосом, взывая теперь к последнему прибежищу — к бабушке.

И бабушка едва сидела на месте.

Ее сердце рвалось в детскую, но, в угоду мне и маме, она крепилась, смотрела из-под дрожащих бровей на темневшую улицу и быстро стучала ложечкой по столу.

Понял тогда и ты, что мы решили не сдаваться, что никто не утолит твоей боли и обиды поцелуями, мольбами о прощении. Да и слез уже не хватало. Ты до изнеможения упился своими рыданиями, своим детским горем, с которым не сравнится, может быть, ни одно человеческое горе, но прекратить вопли сразу было невозможно, хотя бы из-за одного самолюбия.

Ясно было слышно: кричать тебе уже не хочется, голос охрип и срывается, слез нет. Но ты все кричал и кричал!

Было невмоготу и мне. Хотелось встать с места, распахнуть дверь в детскую и сразу, каким-нибудь одним горячим словом, пресечь твои страдания. Но разве это согласуется с правилами разумного воспитания и с достоинством справедливого, хотя и строгого дяди.

Наконец ты затих...

V

— И мы тотчас помирились? — спрашиваешь ты.

Нет, я все-таки выдержал характер. Я, по крайней мере, через полчаса после того, как ты затих, заглянул в детскую. И то как? Подошел к дверям, сделал серьезное лицо и растворил их с таким видом, точно у меня было какое-то дело. А ты в это время уже возвращался мало-помалу к обыденной жизни.

Ты сидел на полу, изредка подергивался от глубоких прерывистых вздохов, обычных у детей после долгого плача, и с потемневшим от размазанных слез личиком забавлялся своими незатейливыми игрушками — пустыми коробочками от спичек, — расставляя их по полу, между раздвинутых ног, в каком-то, только тебе одному известном порядке.

Как сжалось мое сердце при виде этих коробочек!

Но, делая вид, что отношения наши прерваны, что я оскорблен тобою, я едва взглянул на тебя. Я внимательно и строго осмотрел подоконники, столы... Где это мой портсигар?.. И уже хотел выйти, как вдруг ты поднял голову и,

глядя на меня злыми, полными презрения глазами, хрипло сказал:

— Теперь я никогда больше не буду любить тебя.

Потом подумал, хотел сказать еще что-то очень обидное, но запнулся, не нашелся и сказал первое, что пришло в голову:

— И никогда ничего не куплю тебе.

— Пожалуйста! — небрежно ответил я, пожимая плечом.— Пожалуйста! Я от такого дурного мальчика и не взял бы ничего.

— Даже и японскую копеечку, какую тогда подарил, назад возьму! — крикнул ты тонким, дрогнувшим голосом, делая последнюю попытку уязвить меня.

— А вот это уж и совсем нехорошо! — ответил я. — Дарить и потом отнимать! Впрочем, это твое дело.

Потом заходили к тебе мама и бабушка. И так же, как я, делали сначала вид, что вошли случайно... по делу... Затем качали головами и, стараясь не придавать своим словам значения, заводили речь о том, как это нехорошо, когда дети растут непослушными, дерзкими и добиваются того, что их никто не любит. А кончали тем, что советовали тебе пойти ко мне и попросить у меня прощения.

— А то дядя рассердится и уедет в Москву, — говорила бабушка грустным тоном. — И никогда больше не приедет к нам.

— И пускай не приедет! — отвечал ты едва слышно, все ниже опуская голову.

— Ну, я умру, — говорила бабушка еще печальнее, совсем не думая о том, к какому жестокому средству прибегает она, чтобы заставить тебя переломить свою гордость.

— И умирай, — отвечал ты сумрачным шепотом.

— Хорош! — сказал я, снова чувствуя приступ раздражения. — Хорош! — повторил я, дымя папиросой и поглядывая в окно на темную пустую улицу.

И, переждав, пока пожилая худая горничная, всегда молчаливая и печальная от сознания, что она — вдова машиниста, зажгла в столовой лампу, прибавил:

— Вот так мальчик!

— Да не обращай на него внимания, — сказала мама, заглядывая под матовый колпак лампы, не коптит ли. — Охота тебе разговаривать с такой злючкой!

И мы сделали вид, что совсем забыли о тебе.

VI

В детской огня еще не зажигали, и стекла ее окон казались теперь синими-синими. Зимний вечер стоял за ними, и в детской было сумрачно и грустно. Ты сидел на полу и передвигал коробочки. И эти коробочки мучили меня. Я встал и решил побродить по городу.

Но тут послышался шепот бабушки.

— Бесстыдник, бесстыдник! — зашептала она укоризненно. — Дядя тебя любит, возит тебе игрушки, гостинцы...

Я громко прервал:

— Бабушка, этого говорить не следует. Это лишнее. Тут дело не в гостинцах.

Но бабушка знала, что делает.

— Как же не в гостинцах? — ответила она. — Не дорог гостинец, а дорога память.

И, помолчав, ударила по самой чувствительной струне твоего сердца:

— А кто же купит ему теперь пенал, бумаги, книжку с картинками? Да что пенал! Пенал — туда-сюда. А цифры? Ведь уж этого не купишь ни за какие деньги. Впрочем, — прибавила она, — делай, как знаешь. Сиди тут один в темноте.

И вышла из детской.

Конечно, — самолюбие твое было сломлено! Ты был побежден!

Чем неосуществимее мечта, тем пленительнее, чем пленительнее, тем неосуществимее. Я уже знаю это.

С самых ранних дней моих я у нее во власти. Но я знаю и то, что, чем дороже мне моя мечта, тем менее надежд на достижение ее. И я уже давно в борьбе с нею. Я лукавлю: делаю вид, что я равнодушен. Но что мог сделать ты?

Счастье, счастье!

Ты открыл утром глаза, переполненный жаждою счастья. И с детской доверчивостью, с открытым сердцем кинулся к жизни: скорее, скорее!



И. А. Бунин. **«Цифры»**. *Худ. И. Пчелко*

Но жизнь ответила:

— Потерпи.

— Ну пожалуйста! — воскликнул ты страстно.

— Замолчи, иначе ничего не получишь!

— Ну погоди же! — крикнул ты злобно.

И на время смолк.

Но сердце твое буйствовало. Ты бесновался, с грохотом валял стулья, бил ногами в пол, звонко вскрикивал от переполнявшей твое сердце радостной жажды... Тогда жизнь со всего размаха ударила тебя в сердце тупым ножом обиды. И ты закатился бешеным криком боли, призывом на помощь.

Но и тут не дрогнул ни один мускул на лице жизни... Смирись, смирись!

И ты смирился.

VII

Помнишь ли, как робко вышел ты из детской и что ты сказал мне?

— Дядечка! — сказал ты мне, обессиленный борьбой за счастье и все еще алкая[1] его. — Дядечка, прости меня. И дай мне хоть каплю того счастья, жажда которого так сладко мучит меня.

Но жизнь обидчива.

Она сделала притворно-печальное лицо.

— Цифры! Я понимаю, что это счастье... Но ты не любишь дядю, огорчаешь его...

— Да нет, неправда, — люблю, очень люблю! — горячо воскликнул ты.

И жизнь наконец смилостивилась.

— Ну уж Бог с тобою! Неси сюда к столу стул, давай карандаши, бумагу...

И какой радостью засияли твои глаза!

Как хлопотал ты! Как боялся рассердить меня, каким покорным, деликатным, осторожным в каждом своем движении старался ты быть! И как жадно ловил ты каждое мое слово!

Глубоко дыша от волнения, поминутно слюнявя огрызок карандаша, с каким старанием налегал ты на стол грудью и крутил головой, выводя таинственные, полные какого-то божественного значения черточки!

Теперь уже и я наслаждался твоей радостью, с нежностью обоняя запах твоих волос: детские волосы хорошо пахнут, — совсем как маленькие птички.

— Один... Два... Пять... — говорил ты, с трудом водя по бумаге.

— Да нет, не так. Один, два, три, четыре.

— Сейчас, сейчас, — говорил ты поспешно. — Я сначала: один, два...

И смущенно глядел на меня.

— Ну, три...

— Да, да, три! — подхватывал ты радостно. — Я знаю.

И выводил три, как большую прописную букву Е.

---

[1] *Алка́ть* — сильно желать чего-нибудь.

Вопросы и задания

1. Кто виноват в ссоре мальчика и дяди? Как оценивает дядя поступки мальчика и собственное решение? Почему бабушка и мама поддерживали дядю? На чьей стороне автор? А вы?
2. Какие чувства возникли у вас при чтении этого рассказа? Над чем он заставляет задуматься? Подготовьте чтение по ролям или комментированное чтение (т. е. с пояснением прочитанного).
3. Прочитайте самостоятельно рассказы И. А. Бунина «Лапти», «В деревне». Что хотел сказать писатель? Напишите отзыв на один из них.

Развивайте дар слова

1. Какими смысловыми оттенками обогащается слово «деликатный» в повествовании автора и в высказываниях героев? Используете ли вы это слово в своей речи? Если да, то при каких обстоятельствах?
2. Какая мелодия, по вашему мнению, была найдена Буниным к этому рассказу (печальная, радостная, звонкая, тихая, сочетание плавного и резкого тонов и т. д.)?
3. «Чехов весь направлен в сторону внутреннего мира человека, здесь он достигает необыкновенной точности. Этому не устаешь поражаться, перечитывая его во второй, в десятый, в сотый раз... А Бунин удивляет прежде всего изображением внешнего мира, пластикой, живописностью...
Чехов же всегда умел проникать во внутренний мир другого, и так глубоко, что ему совершенно не нужно было описывать внешние приметы человека, — благодаря точности изображения „нутра“ читатель как бы угадывал все остальное. У Бунина наоборот. Он настолько точно живописал внешний мир, воссоздавая его в мельчайших деталях — в цвете, в звуках, в красках, — что воображение читателя дорисовывало мир внутренний. У таких художников не перестаешь учиться» (*Юрий Трифонов*. Из беседы с корреспондентом).

   Согласны ли вы с этим суждением? Подготовьте развернутый ответ, подтвердив его цитатами из текста.



Максим ГОРЬКИЙ

1868—1936

Максим Горький — псевдоним писателя Алексея Максимовича Пешкова. М. Горький прожил большую, интересную и очень трудную жизнь. Вот что он рассказывал о себе:

«Родился в 1868 г... в Нижнем, в семье красильщика Василия Васильевича Каширина, от дочери его Варвары и пермского мещанина Максима Савватиева Пешкóва, по ремеслу драпировщика, или обойщика... Отец умер в Астрахани, когда мне было пять лет; мать в Кунавине — слободе.

По смерти матери дедушка отдал меня в магазин обуви; в ту пору имел я 9 лет от роду и был дедом обучен грамоте по псалтыри и часослову[1]. Из „мальчиков“ сбежал и поступил в иконописную мастерскую, потом на пароход в поварята, потом в помощники садовника. В сих занятиях прожил до пятнадцати лет, все время занимаясь усердно чтением...

На пароходе, когда был поваренком, на образование мое сильно влиял повар Смурый... он возбудил во мне интерес к чтению книг...

[1] *Псалты́рь, часосло́в* — церковные книги, содержащие тексты богослужений, молитв и песнопений.

После 15 лет возымел я свирепое желание учиться, с какою целью поехал в Казань, предполагая, что науки желающим даром преподаются. Оказалось, что оное не принято, вследствие чего я поступил в крéндельное заведение, по 3 рубля в месяц... В Казани близко сошелся и долго жил с „бывшими людьми“[1]. <...> Работал на Устье, пилил дрова, таскал грузы и, прибавим, почитывал всевозможные книжки».

В 1913 году он пишет первую часть автобиографии — «Детство». В 1916-м — продолжает ее, описывая уже свою тяжелую трудовую жизнь, — «В людях», а в 1922 году заканчивает описание своей жизни повестью «Мои университеты».

«...Его биография, — пишет Павел Максимов[2], — ошеломила меня: это была суровая, но и прекрасная сказка о человеке, вышедшем из народных низов, поднявшемся на самые высокие вершины человеческой культуры и ставшем властителем дум, всемирно известным писателем...»

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И ПИСЕМ...

...Псевдоним себе Алексей Максимович придумал сам. Впоследствии он говорил мне: «Не писать же мне в литературе — Пешко́в».

Долго беседуя со мной, он рассказывал о своих путешествиях, отдельных жизненных эпизодах. Биографии своей почти не касался, ничего не говорил о пережи́том. Рассказчик Алексей Максимович был замечательный.

А. Калюжный

...Я с детства видел бессмысленную жестокость и непонятную мне вражду людей, был поражен тяжестью труда одних и животным благополучием других...

М. Горький. «О том, как я учился писать»

[1] *Бы́вшие лю́ди* — бродяги, нищие, воры.

[2] Па́вел Хрисанфович Макси́мов — молодой человек, написавший Горькому письмо, которое вызвало длительную переписку. Впоследствии писатель, автор книги «О Горьком. Письма А. М. Горького и встречи с ним».

...Книги... показывали мне иную жизнь — жизнь больших чувств и желаний, которые приводили людей к подвигам и преступлениям...

...Для меня книга — чудо, в ней заключена душа написавшего ее; открыв книгу, я освобождаю эту душу, и она таинственно говорит со мною.

М. Горький. «В людях»

Нередко я плакал, читая, — так хорошо рассказывалось о людях, так милы и близки становились они. И, мальчишка, задерганный дурацкой работой, обижаемый дурацкой руганью, я давал сам себе торжественные обещания помочь людям, честно послужить им, когда вырасту.

М. Горький. «Как я учился»

...ИЗ ПИСЕМ М. ГОРЬКОГО ПАВЛУ МАКСИМОВУ

«...Брюсова, Блока, Бальмонта и вообще новых поэтов не спешите читать, сначала хорошенько ознакомьтесь со старыми — Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Фетом...»

«К русскому же писателю — я не про себя говорю, поверьте, надо относиться вдвойне уважительно, ибо это лицо почти героическое, изумительной искренности и великой любви сосуд живой. Почитайте о Глебе Успенском, Гаршине, Салтыкове, о Герцене, посмотрите на ныне живущего Короленко — первого и талантливейшего писателя теперь у нас. И вообще — учитесь, читайте — научитесь уважать людей за их работу, за все то, что они в прошлом сделали для Вас и Вы живете ныне, не зная о том великом труде, который лежит в каждой вещи, коею Вы пользуетесь...»

«Учитесь настойчиво, упорно, всегда. Читайте серьезные книги — я очень рекомендовал бы Вам Ключевского — Историю, Милюкова — „Очерки по истории русской культуры“».

«Читайте больше, дружище, это познакомит Вас с грандиозной работой мировой человеческой мысли...» Горький

часто сетовал: «Работаю по 12 часов в день...», «Завален работой, часто просиживаю за столом по четырнадцать часов в сутки».

Вопрос и задание

Что нового узнали вы о М. Горьком из его воспоминаний и высказываний о нем его знакомых и друзей? Подготовьте небольшой рассказ о писателе, включив в него воспоминания и письма.

Детство

(В сокращении)

I

...Пароход снова бухал и дрожал, окно каюты горело, как солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашептывая...

Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, ее темные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые, крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в темной коже щек, все лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из черной табакерки, украшенной серебром. Вся она — темная, но светилась изнутри — через глаза — неугасимым, веселым и теплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка, — она и мягкая такая же, как этот ласковый зверь.

До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала все вокруг меня в непрерывную нить, сплела все в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком — это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни.

Сорок лет назад пароходы плавали медленно; мы ехали до Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красотою.

Установилась хорошая погода; с утра до вечера я с бабушкой на палубе, под ясным небом, между позолоченных осенью, шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, лениво и гулко бухая плицами[1] по серовато-синей воде, тянется вверх по течению светло-рыжий пароход, с баржой на длинном буксире. Баржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывет над Волгой солнце; каждый час все вокруг ново, все меняется; зеленые горы — как пышные складки на богатой одежде земли; по берегам стоят города и села, точно пряничные издали; золотой осенний лист плывет по воде.

— Ты гляди, как хорошо-то! — ежеминутно говорит бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены.

Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне: стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах слезы. Я дергаю ее за темную, с набойкой цветами, юбку.

— Ась? — встрепенется она. — А я будто задремала да сон вижу.

— А о чем плачешь?

— Это, милый, от радости да от старости, — говорит она, улыбаясь. — Я ведь уж старая, за шестой десяток лета-весны мои перекинулись-пошли.

И, понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях, о всяком зверье и нечистой силе.

Сказки она сказывает тихо, таинственно, наклонясь к моему лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно вливая в сердце мое силу, приподнимающую меня. Говорит, точно поет, и чем дальше, тем складней звучат слова. Слушать ее невыразимо приятно. Я слушаю и прошу:

— Еще!

[1] *Плúцы* — лопасти пароходного колеса.

— А еще вот как было: сидит в подпечке старичок-домовой, занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает: «Ой, мышеньки, больно, ой, мышата, не стерплю!»

Подняв ногу, она хватается за нее руками, качает ее на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно.

Вокруг стоят матросы — бородатые, ласковые мужики, — слушают, смеются, хвалят ее и тоже просят:

— А ну, бабушка, расскажи еще чего!

Потом говорят:

— Айда ужинать с нами!

За ужином они угощают ее водкой, меня — арбузами, дыней; это делается скрытно: на пароходе едет человек, который запрещает есть фрукты, отнимает их и выбрасывает в реку. Он одет похоже на будочника — с медными пуговицами — и всегда пьяный; люди прячутся от него.

Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас. Она все молчит, мать. Ее большое, стройное тело, темное, железное лицо, тяжелая корона заплетенных в косы светлых волос — вся она, мощная и твердая, вспоминается мне как бы сквозь туман или прозрачное облако; из него отдаленно и неприветливо смотрят прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки.

Однажды она строго сказала:

— Смеются люди над вами, мамаша!

— А Господь с ними! — беззаботно ответила бабушка. — А пускай смеются, на доброе им здоровье!

Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дергая за руку, она толкала меня к борту и кричала:

— Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка, Нижний-то! Вот он какой, Богов! Церкви-те, гляди-ка ты, летят будто!

И просила мать, чуть не плача:

— Варюша, погляди, чай, а? Поди, забыла ведь! Порадуйся!

Мать хмуро улыбалась.

Когда пароход остановился против красивого города, среди реки, тесно загроможденной судами, ощетинившейся сотнями острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали

подниматься на палубу. Впереди всех быстро шел небольшой сухонький старичок, в черном длинном одеянии, с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелеными глазками.

— Папаша! — густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него, а он, хватая ее за голову, быстро гладя щеки ее маленькими красными руками, кричал, взвизгивая:

— Что-о, дура? Ага-а! То-то вот... Эх вы-и...

Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертясь, как винт; она толкала меня к людям и говорила торопливо:

— Ну, скорее! Это — дядя Михайло, это — Яков... Тетка Наталья, это — братья, оба Саши, сестра Катерина, это все наше племя, вот сколько!

Дедушка сказал ей:

— Здорова ли, мать?

Они троекратно поцеловались.

Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову:

— Ты чей таков будешь?

— Астраханский, из каюты...

— Чего он говорит? — обратился дед к матери и, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав:

— Скулы-те отцовы... Слезайте в лодку!

Съехали на берег и толпой пошли в гору, по съезду, мощенному крупным булыжником, между двух высоких откосов, покрытых жухлой примятой травой.

Дед с матерью шли впереди всех. Он был ростом под руку ей, шагал мелко и быстро, а она, глядя на него сверху вниз, точно по воздуху плыла. За ними молча двигались дядья: черный гладковолосый Михаил, сухой, как дед, светлый и кудрявый Яков, какие-то толстые женщины в ярких платьях и человек шесть детей, все старше меня и все тихие. Я шел с бабушкой и маленькой теткой Натальей. Бледная, голубоглазая, с огромным животом, она часто останавливалась и, задыхаясь, шептала:

— Ой, не могу!

— На что они тревожили тебя? — сердито ворчала бабушка.— Эко неумное племя!

И взрослые и дети — все не понравились мне, я чувствовал себя чужим среди них, даже и бабушка как-то померкла, отдалилась.

Особенно же не понравился мне дед; я сразу почуял в нем врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое любопытство.

Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислонясь к правому откосу и начиная собою улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязно-розовой краской, с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он показался мне большим, но внутри его, в маленьких, полутемных комнатах, было тесно; везде, как на пароходе перед пристанью, суетились сердитые люди, стаей вороватых воробьев метались ребятишки, и всюду стоял едкий, незнакомый запах.

Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный: весь завешан огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою. В ней тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова:

— Сандал — фуксин[1] — купорос...

II

Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне, как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что все было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть, — слишком обильна жестокостью темная жизнь «неумного племени».

Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил — да и по сей день живет — простой русский человек.

[1] *Сандáл* — краситель (обычно красный), извлекаемый из древесины сандáлового и некоторых других тропических деревьев. *Фуксúн* — красная анилиновая краска.

Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми; она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж «самокруткой», против его воли. Дядья считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому — за Окой, в слободе Кунавине.

Уже вскоре после приезда в кухне, во время обеда, вспыхнула ссора: дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки, а дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко — петухом — закричал:

— По миру пущу!

Болезненно искривив лицо, бабушка говорила:

— Отдай им все, отец, — спокойней тебе будет, отдай!

— Цыц, потатчица[1]! — кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что, маленький такой, он может кричать столь оглушительно.

Мать встала из-за стола и, не торопясь, отойдя к окну, повернулась ко всем спиною.

Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу; тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатились по полу, хрипя, охая, ругаясь.

Заплакали дети; отчаянно закричала беременная тетка Наталья; моя мать потащила ее куда-то, взяв в охапку; веселая рябая нянька Евгенья выгоняла из кухни детей; падали стулья; молодой широкоплечий подмастерье Цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешивый, бородатый человек в темных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем.

[1] *Пота́тчица* — та, кто делает поблажку, потака́ет, поддерживает кого-то.

Вытянув шею, дядя терся редкой черной бородо́ю по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал:

— Братья, а! Родная кровь! Эх вы-и...

Я еще в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водою из медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова; он плакал и топал ногами, а она говорила тяжелым голосом:

— Окаянные, дикое племя, опомнитесь!

Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей:

— Что, ведьма, народила зверья?

Когда дядя Яков ушел, бабушка сунулась в угол, потрясающе воя:

— Пресвятая Мати Божия, верни разум детям моим!

Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где все было опрокинуто, пролито, тихо проговорил:

— Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут, чего доброго...

— Полно, Бог с тобой! Сними-ка рубаху-то, я зашью...

И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб; он же — маленький против нее — ткнулся лицом в плечо ей.

— Надо, видно, делиться, мать...

— Надо, отец, надо!

Они говорили долго; сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал:

— Знаю я тебя, ты их больше любишь! А Мишка твой — езуит[1], а Яшка — фармазон[2]! И пропьют они добро мое, промотают...

Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг; загремев по ступеням влаза, он шлепнулся в лохань с помоями. Дед впрыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые:

— Кто тебя посадил на печь? Мать?

— Я сам.

[1] *Езуи́т* (искаженное; правильно: *иезуи́т*) — здесь: хитрый, изворотливый.

[2] *Фармазо́н* — здесь: вольнодумец, безбожник.

— Врешь.

— Нет, сам. Я испугался.

Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб.

— Весь в отца! Пошел вон...

Я был рад убежать из кухни.

Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими зелеными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой; он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого.

— Эх вы-и! — часто восклицал он; долгий звук «и-и» всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство.

В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядья и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками, окрашенными сандалом, обожженными купоросом, с повязанными тесемкой волосами, все похожие на темные иконы в углу кухни, — в этот опасный час дед садился против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мною чаще, чем с ними. Весь он был складный, точеный, острый. Его атласный, шитый шелками, глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаха измята, на коленях штанов красовались большие заплаты, а все-таки он казался одетым и чище и красивей сыновей, носивших пиджаки, манишки и шелковые косынки на шеях.

Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви; золотые главы ее были видны из окон дома.

Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что, мне казалось, сквозь них можно было видеть все сзади ее головы.

Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая; она щурилась, вертела головою и просила тихонько, почти шепотом:

— Ну, говори, пожалуйста: «Отче наш, иже еси...»

И если я спрашивал: «Что такое — яко же?» — она, пугливо оглянувшись, советовала:

— Ты не спрашивай, это хуже! Просто говори за мною: «Отче наш...» Ну?

Меня беспокоило: почему спрашивать хуже? Слова «яко же» принимали скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал их:

— «Яков же», «я в коже»...

Но бледная, словно тающая тетка терпеливо поправляла голосом, который все прерывался у нее:

— Нет, ты говори просто: «яко же».

Но и сама она, и все ее слова были не просты. Это раздражало меня, мешая запомнить молитву.

Однажды дед спросил:

— Ну, Олешка, чего сегодня делал? Играл! Вижу по желваку на лбу. Это не велика мудрость желвак нажить! А «Отче наш» заучил?

Тетка тихонько сказала:

— У него память плохая.

Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови.

— А коли так, — высечь надо!

И снова спросил меня:

— Тебя отец сек?

Не понимая, о чем он говорит, я промолчал, а мать сказала:

— Нет, Максим не бил его, да и мне запретил.

— Это почему же?

— Говорил, битьем не выучишь.

— Дурак он был во всем, Максим этот, покойник, прости Господи! — сердито и четко проговорил дед.

Меня обидели его слова. Он заметил это.

— Ты что губы надул? Ишь ты...

И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил:

— А я вот в субботу Сашку за наперсток пороть буду.

— Как это пороть?— спросил я.

Все засмеялись, а дед сказал:

— Погоди, увидишь...

Притаившись, я соображал: пороть — значит расшивать платья, отданные в краску, а сечь и бить — одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек; в Астрахани будочники бьют персиян, — это я видел. Но я никогда не видал, чтоб так били маленьких, и хотя здесь дядья щелкали своих то по лбу, то по затылку, — дети относились к этому равнодушно, только почесывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их:

— Больно?

И всегда они храбро отвечали:

— Нет, нисколечко!

Шумную историю с наперстком я знал. Вечерами, от чая до ужина, дядья и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну «штуку» и пристегивали к ней картонные ярлыки. Желая пошутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девятилетнему племяннику накалить на огне свечи наперсток мастера. Саша зажал наперсток щипцами для снимания нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку, но как раз в этот момент пришел дедушка, сел за работу и сам сунул палец в каленый наперсток.

Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожженным пальцем, смешно прыгал и кричал:

— Чье дело, басурмане?

Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял наперсток пальцем и дул на него; мастер невозмутимо шил; тени прыгали по его огромной лысине; прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там; бабушка терла на терке сырой картофель.

— Это Сашка Яковов устроил! — вдруг сказал дядя Михаил.

— Врешь! — крикнул Яков, выскочив из-за печи.

А где-то в углу его сын плакал и кричал:

— Папа, не верь. Он сам меня научил!

Дядья начали ругаться. Дед же сразу успокоился, приложил к пальцу тертый картофель и молча ушел, захватив с собой меня.

Все говорили — виноват дядя Михаил. Естественно, что за чаем я спросил — будут ли его сечь и пороть?

— Надо бы, — проворчал дед, искоса взглянув на меня.

Дядя Михаил, ударив по столу рукою, крикнул матери:

— Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну!

Мать сказала:

— Попробуй, тронь...

И все замолчали.

Она умела говорить краткие слова как-то так, точно отталкивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умалялись.

Мне было ясно, что все боятся матери; даже сам дедушка говорил с нею не так, как с другими, — тише. Это было приятно мне, и я с гордостью хвастался перед братьями:

— Моя мать — самая сильная!

Они не возражали.

Но то, что случилось в субботу, надорвало мое отношение к матери.

До субботы я тоже успел провиниться.

Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй: берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо-синей — «кубовой»; полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым — «бордо». Просто, а — непонятно.

Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Саше Яковову, серьезному мальчику; он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил:

— Экой подхалим!

Худенький, темный, с выпученными, рачьими глазами, Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлебываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться. Карие зрачки его были неподвижны, но, когда он возбуждался, дрожали вместе с белками.

Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный увалень Саша Михаилов, мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы; они высовывались изо рта и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его; он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда, и покорно позволял щупать их каждому, кто желал. Но ничего более интересного я не находил в нем. В доме, битком набитом людьми, он жил одиноко, любил сидеть в полутемных углах, а вечером у окна. С ним хорошо было молчать — сидеть у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем небе вокруг золотых луковиц Успенского храма вьются-мечутся черные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз и, вдруг покрыв угасающее небо черною сетью, исчезают куда-то, оставив за собою пустоту. Когда смотришь на это, говорить ни о чем не хочется, и приятная скука наполняет грудь.

А Саша дяди Якова мог обо всем говорить много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкапа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет.

— Белое всего легче красится, уж я знаю! — сказал он очень серьезно.

Я вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор, но когда опустил край ее в чан с «кубовой», на меня налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть и, отжимая ее широкими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моею работой:

— Зови бабушку скорее!

И, зловеще качая черной, лохматой головою, сказал мне:

— Ну, и попадет же тебе за это!

Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня:

— Ах ты, пермяк, солены уши! Чтоб те приподняло да шлепнуло.

Потом стала уговаривать Цыганка:

— Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то! Уж я спрячу дело; авось, обойдется как-нибудь...

Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником:

— Мне что? Я не скажу; глядите, Сашутка не наябедничал бы!

— Я ему семишник дам, — сказала бабушка, уводя меня в дом.

В субботу, перед всенощной, кто-то привел меня в кухню; там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего ве-

чера, шорох дождя. Перед черным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя Цыганок; дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерял их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала:

— Ра-ад... мучитель...

Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул:

— Простите Христа ради...

Как деревянные, стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу.

— Высеку — прощу, — сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. — Ну-ка, снимай штаны-то!..

Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки — ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни, под низким закопченным потолком.

Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, поддерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошел к скамье. Смотреть, как он идет, было нехорошо, у меня тоже дрожали ноги.

Но стало еще хуже, когда он покорно лег на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил черными руками ноги его у щиколоток.

— Лексей, — позвал дед, — иди ближе!.. Ну, кому говорю?.. Вот гляди, как секут... Раз!..

Невысоко махнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул.

— Врешь, — сказал дед, — это не больно! А вот этак больней!

И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл.

— Не сладко? — спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. — Не любишь? Это за наперсток!

Когда он взмахивал рукой, в груди у меня все поднималось вместе с нею; падала рука — и я весь точно падал.

Саша визжал страшно тонко, противно:

— Не буду-у... Ведь я же сказал про скатерть... Ведь я сказал...

Спокойно, точно псалтырь читая, дед говорил:

— Донос — не оправданье! Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть!

Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав:

— Лексея не дам! Не дам, изверг!

Она стала бить ногою в дверь, призывая:

— Варя, Варвара!..

Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, схватил меня и понес к лавке. Я бился в руках у него, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и наконец бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик:

— Привязывай! Убью!..

Помню белое лицо матери и ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела:

— Папаша, не надо!.. Отдайте...

Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной, неугасимой лампадой в углу пред киотом[1] со множеством икон.

Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой.

Прежде всего меня очень поразила ссора бабушки с матерью: в тесноте комнаты бабушка, черная и большая, лезла на мать, заталкивая ее в угол, к образам, и шипела:

— Ты что не отняла его, а?

— Испугалась я.

— Эдакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я — старуха, да не боюсь! Стыдись!..

— Отстаньте, мамаша: тошно мне...

— Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту!

[1] *Киóт* — застекленная рама или шкафчик для икон.

Мать сказала тяжело и громко:

— Я сама на всю жизнь сирота!

Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила:

— Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала! Не могу жить в аду этом, не могу, мамаша! Сил нет...

— Кровь ты моя, сердце мое, — шептала бабушка. Я запомнил: мать — не сильная; она, как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать, действительно, исчезла из дома. Уехала куда-то гостить.

Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка, сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лед, рукою:

— Здравствуй, сударь... Да ты ответь, не сердись! Ну, что ли?..

Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался еще более рыжим, чем был раньше; голова его беспокойно качалась; яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил все это на подушку, к носу моему.

— Вот, видишь, я тебе гостинца принес!

Нагнувшись, поцеловал меня в лоб; потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой, жесткой рукою, окрашенной в желтый цвет, особенно заметный на кривых, птичьих ногтях.

— Я тебя тогда перетово, брат. Разгорячился очень; укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел, — в зачет пойдет! Ты знай: когда свой, родной бьет — это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олеша, так били, что в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам Господь Бог глядел — плакал! А что вышло? Сирота, нищей матери сын, а вот дошел до своего места, — старшиной цеховым сделан, начальник людям.

Привалившись ко мне сухим, складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко и ловко.

Его зеленые глаза ярко разгорелись, и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне:

— Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам, своей силой супротив Волги баржи тянул. Баржа — по воде, я — по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугун, кипит, а ты, согнувшись в три погибели, — косточки скрипят — идешь да идешь, и пути не видать, глаза по́том залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, — эхма, Олеша, помалкивай! Идешь, идешь, да из лямки-то и вывалишься, мордой в землю — и тому рад; стало быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вот как жили у Бога на глазах, у милостивого Господа Исуса Христа!.. Да так-то я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от Саратова досюдова да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки, — в этом многие тысячи верст! А на четвертый год уж и водоливом[1] пошел, — показал хозяину разум свой!..

Говорил он и — быстро, как облако, рос предо мною, превращаясь из маленького, сухого старичка в человека силы сказочной, — он один ведет против реки огромную, серую баржу...

Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду; пел басом какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и, весь удивительный, еще более густо, крепко говорил:

— Ну, зато, Олеша, на привале, на отдыхе, летним вечером, в Жигулях, где-нибудь под зеленой горой поразложим, бывалоче, костры — кашицу варить, да как заведет горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель — аж мороз по коже дернет, и будто Волга вся быстрей пойдет, — так бы, чай, конем и встала на дыбы, до самых облаков! И всякое горе — как пыль по ветру; до того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла убежит; тут кашевара по лбу половником надо бить: играй, как хошь, а дело помни!

[1] *Водоли́в* — старший в артели бурлаков.

Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил:

— Не уходи!

Он, усмехаясь, отмахивался от людей:

— Погодите там...

Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог.

Посещение деда широко открыло дверь для всех, и с утра до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня; помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще других бывала у меня бабушка; она и спала на одной кровати со мной; но самое яркое впечатление этих дней дал мне Цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую, шелковую рубаху, плисовые[1] штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые веселые глаза под густыми бровями и белые зубы под черной полоской молодых усов, горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампады.

— Ты глянь-ка, — сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку, до локтя в красных рубцах, — вон как разнесло! Да еще хуже было, зажило много! Чуешь ли: как вошел дед в ярость, и вижу, запорет он тебя, так начал я руку эту подставлять, ждал — переломится прут, дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащат бабаня или мать! Ну, прут не переломился, гибок, моченый! А все-таки тебе меньше попало, — видишь, насколько? Я, брат, жуликоватый!..

Он засмеялся шелковым, ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку, и, смеясь, говорил:

— Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую! Беда! А он хлещет...

Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про деда, сразу близкий мне, детски простой.

[1] *Плúсовые* — сделанные из хлопчатобумажной ткани с ворсом, похожей на бархат.

Я сказал ему, что очень люблю его, — он незабвенно просто ответил:

— Так ведь и я тебя тоже люблю, — за то и боль принял, за любовь! Али я стал бы за другого за кого? Наплевать мне...

Потом он учил меня тихонько, часто оглядываясь на дверь:

— Когда тебя вдругорядь сечь будут, ты, гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, — чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмешь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было, — киселем лежи! И не надувайся, дыши во всю, кричи благим матом, — ты это помни, это хорошо!

Я спросил:

— Разве еще сечь будут?

— А как же? — спокойно сказал Цыганок. — Конечно, будут! Тебя, поди-ка, часто будут драть...

— За что?

— Уж дедушка сыщет...

И снова озабоченно стал учить:

— Коли он сечет с навеса, просто сверху кладет лозу, — ну, тут лежи спокойно, мягко; а ежели он с оттяжкой сечет, — ударит да к себе потянет лозину, чтобы кожу снять, — так и ты виляй телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!

Подмигнув темным, косым глазом, он сказал:

— Я в этом деле умнее самого квартального! У меня, брат, из кожи хоть голицы[1] шей!

Я смотрел на его веселое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурачка.

III

Когда я выздоровел, мне стало ясно, что Цыганок занимает в доме особенное место: дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нем, жмурясь и покачивая головою:

— Золотые руки у Иванка, дуй его горой! Помяните мое слово: не мал человек растет!

Дядья тоже обращались с Цыганком ласково, дружески и никогда не «шутили» с ним, как с мастером Григори-

[1] *Голúцы* — кожаные рукавицы без подкладки.

ем, которому они почти каждый вечер устраивали что-нибудь обидное и злое: то нагреют на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх острием или подложат, полуслепому, разноцветные куски материи, — он сошьет их в одну «штуку», а дедушка ругает его за это.

Однажды, когда он спал после обеда в кухне на полатях, ему накрасили лицо фуксином, и долго он ходил смешной, страшный: из серой бороды тускло смотрят два круглых пятна очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык.

Они были неистощимы в таких выдумках, но мастер все сносил молча, только крякал тихонько да, прежде чем дотронуться до утюга, ножниц, щипцов и наперстка, обильно смачивал пальцы слюною. Это стало его привычкой; даже за обедом, перед тем как взять нож или вилку, он муслил пальцы, возбуждая смех детей. Когда ему было больно, на его большом лице являлась волна морщин и, странно скользнув по лбу, приподняв брови, пропадала где-то на голом черепе.

Не помню, как относился дед к этим забавам сыновей, но бабушка грозила им кулаком и кричала:

— Бесстыжие рожи, злыдни!

Но и о Цыганке за глаза дядья говорили сердито, насмешливо, порицали его работу, ругали вором и лентяем.

Я спросил бабушку, отчего это.

Охотно и понятно, как всегда, она объяснила мне:

— А вишь ты, обоим хочется Ванюшку себе взять, когда у них свои-то мастерские будут, вот они друг перед другом и хают его: дескать, плохой работник! Это они врут, хитрят. А еще боятся, что не пойдет к ним Ванюшка, останется с дедом, а дед — своенравный, он и третью мастерскую с Иванкой завести может, — дядьям-то это невыгодно будет, понял?

Она тихонько засмеялась.

— Хитрят всё, Богу на смех! Ну, а дедушка хитрости эти видит да нарочно дразнит Яшу с Мишей: «Куплю, говорит, Ивану рекрутскую квитанцию[1], чтобы его в солдаты

[1] *Ре́крутская квита́нция* — документ об уплате денег за освобождение от военной службы (в дореволюционной России).

не забрали: мне он самому нужен!» А они сердятся, им этого не хочется, и денег жаль, — квитанция-то дорогая!

Теперь я снова жил с бабушкой, как на пароходе, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки или свою жизнь, тоже подобную сказке. А про деловую жизнь семьи — о выделе детей, о покупке дедом нового дома для себя — она говорила посмеиваясь, отчужденно, как-то издали, точно соседка, а не вторая в доме по старшинству.

Я узнал от нее, что Цыганок — подкидыш; раннею весной, в дождливую ночь, его нашли у ворот дома на лавке.

— Лежит, в запон[1] обернут, — задумчиво и таинственно сказывала бабушка, — еле попискивает, закоченел уж.

— А зачем подкидывают детей?

— Молока у матери нет, кормить нечем; вот она узнает, где недавно дитя родилось да померло, и подсунет туда своего-то.

Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок:

— Бедность все, Олеша; такая бывает бедность, что и говорить нельзя! И считается, что незамужняя девица не смей родить, — стыдно-де! Дедушка хотел было Ванюшку-то в полицию нести, да я отговорила: возьмем, мол, себе; это Бог нам послал в тех место, которые померли. Ведь у меня восемнадцать было рожено; кабы все жили — целая улица народу, восемнадцать-то домов! Я, гляди, на четырнадцатом году замуж отдана, а к пятнадцати уж и родила; да вот полюбил Господь кровь мою, все брал да и брал ребятишек моих в ангелы. И жалко мне, а и радостно!

Сидя на краю постели в одной рубахе, вся осыпанная черными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медведицу, которую недавно приводил на двор бородатый, лесной мужик из Сергача. Крестя снежно-белую, чистую грудь, она тихонько смеется, колышется вся.

— Получше себе взял, похуже мне оставил. Очень я обрадовалась Иванке, — уж больно люблю вас, маленьких! Ну, и приняли его, окрестили, вот он и живет, хорош. Я его вначале Жуком звала, — он, бывало, ужжал особен-

[1] *Запо́н* — широкий фартук.

но, — совсем жук, ползает и ужжит на все горницы. Люби его — он простая душа!

Я и любил Ивана, и удивлялся ему до немоты.

По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всенощной, в кухне начиналась неописуемо забавная жизнь: Цыганок доставал из-за печи черных тараканов, быстро делал нитяную упряжь, вырезывал из бумаги сани, и по желтому, чисто выскобленному столу разъезжала четверка вороных, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной, возбужденно визжал:

— За архереем[1] поехали!

Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объяснял:

— Мешок забыли. Монах бежит, тащит!

Связывал ножки таракана ниткой; насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, прихлопывая ладонями:

— Дьячок из кабака к вечерней идет!

Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собою длинные хвосты, смешно мигая черненькими бусинами бойких глаз. С мышами он обращался бережно, носил их за пазухой, кормил изо рта сахаром, целовал и говорил убедительно:

— Мышь — умный житель, ласковый, ее домовой очень любит! Кто мышей кормит, тому и дед-домовик мирволит...

Он умел делать фокусы с картами, деньгами, кричал больше всех детей и почти ничем не отличался от них. Однажды дети, играя с ним в карты, оставили его «дураком» несколько раз кряду, — он очень опечалился, обиженно надул губы и бросил игру, а потом жаловался мне, шмыгая носом:

— Знаю я, они уговорились! Они перемигивались, карты совали друг другу под столом. Разве это игра? Жульничать я сам умею не хуже...

Ему было девятнадцать лет, и был он больше всех нас четверых, взятых вместе.

Но особенно он памятен мне в праздничные вечера, когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухню являлся

[1] *Архере́й* (искаженное; правильно: *архиере́й*) — высший чин монашествующего духовенства православной церкви.

кудрявый, встрепанный дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зеленом штофе[1] с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его; волчком вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил мастер, сверкая темными стеклами очков; нянька Евгенья, рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка, с хитрыми глазами и трубным голосом; иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и еще какие-то темные, скользкие люди, похожие на щук и налимов.

Все много пили, ели, вздыхая тяжко, детям давали гостинцы, по рюмке сладкой наливки, и постепенно разгоралось жаркое, но странное веселье.

Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив — говорил всегда одни и те же слова:

— Ну-с, я начну-с!

Встряхнув кудрями, он сгибался над гитарой, вытягивал шею, точно гусь; круглое, беззаботное лицо его становилось сонным; живые, неуловимые глаза угасали в масляном тумане, и, тихонько пощипывая струны, он играл что-то разымчивое, невольно поднимавшее на ноги.

Его музыка требовала напряженной тишины; торопливым ручьем она бежала откуда-то издали, просачивалась сквозь пол и стены и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство, грустное и беспокойное. Под эту музыку становилось жалко всех и себя самого, большие казались тоже маленькими, и все сидели неподвижно, притаясь в задумчивом молчании.

Особенно напряженно слушал Саша Михаилов; он все вытягивался в сторону дяди, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он забывался до того, что падал со стула, тыкаясь руками в пол, и если это случалось, он так уж и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза.

И все застывали, очарованные; только самовар тихо поет, не мешая слушать жалобу гитары. Два квадрата маленьких окон устремлены во тьму осенней ночи, порою кто-то мягко постукивает в них. На столе качаются желтые огни двух сальных свеч, острые, точно копья.

[1] *Штоф* — бутылка, равная $^1/_{10}$ ведра.

Дядя Яков все более цепенел; казалось, он крепко спит, сцепив зубы, только руки его живут отдельной жизнью: изогнутые пальцы правой неразличимо дрожали над темным голосником, точно птица порхала и билась; пальцы левой с неуловимой быстротой бегали по грифу.

Выпивши, он почти всегда пел сквозь зубы голосом — неприятно свистящим — бесконечную песню:

Быть бы Якову собакою —
Выл бы Яков с утра до ночи:
Ой, скушно мне!
Ой, грустно мне!
По улице монахиня идет;
На заборе ворона сидит.
Ой, скушно мне!
За печкою сверчок торохтит,
Тараканы беспокоятся.
Ой, скушно мне!
Нищий вывесил портянки сушить,
А другой нищий портянки украл!
Ой, скушно мне!
Да, ох, грустно мне!

Я не выносил этой песни и, когда дядя запевал о нищих, буйно плакал в невыносимой тоске.

Цыганок слушал музыку с тем же вниманием, как все, запустив пальцы в свои черные космы, глядя в угол и посапывая. Иногда он неожиданно и жалобно восклицал:

— Эх, кабы голос мне, — пел бы я как, Господи!

Бабушка, вздыхая, говорила:

— Будет тебе, Яша, сердце надрывать! А ты бы, Ванятка, поплясал...

Они не всегда исполняли просьбу ее сразу, но бывало, что музыкант вдруг на секунду прижимал струны ладонью, а потом, сжав кулак, с силою отбрасывал от себя на пол что-то невидимое, беззвучное и ухарски кричал:

— Прочь, грусть-тоска! Ванька, становись!

Охорашиваясь, одергивая желтую рубаху, Цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни; его смуглые щеки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он просил:

— Только почаще, Яков Васильич!

Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкафу дребезжала посуда, а среди кухни огнем пылал Цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги; гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая все вокруг блеском шелка, а шелк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился.

Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что, если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда...

— Режь поперек! — кричал дядя Яков, притопывая.

И пронзительно свистел и раздражающим голосом выкрикивал прибаутки:

Эхма! Кабы не было мне жалко лаптей,
Убежал бы от жены и от детей!

Людей за столом подергивало, они тоже порою вскрикивали, подвизгивали, точно их обжигало; бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-то. Однажды он, наклонясь ко мне и покрыв мягкой бородою плечо мое, сказал прямо в ухо, обращаясь словно к взрослому:

— Отца бы твоего, Лексей Максимыч, сюда, — он бы другой огонь зажег! Радостный был муж, утешный. Ты его помнишь ли?

— Нет.

— Ну? Бывало, он да бабушка, — стой-ко, погоди!

Он поднялся на ноги, высокий, изможденный, похожий на образ святого, поклонился бабушке и стал просить ее необычно густым голосом:

— Акулина Ивановна, сделай милость, пройдись разок! Как, бывало, с Максимом Савватеевым хаживала. Утешь!

— Что ты, свет, что ты, сударь, Григорий Иваныч? — посмеиваясь и поеживаясь, говорила бабушка. — Куда уж мне плясать! Людей смешить только...

Но все стали просить ее, и вдруг она молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, вскинув тяжелую голову, и пошла по кухне, вскрикивая:

— А смейтесь, ино, на здоровье! Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то!

Дядя весь вскинулся, вытянулся, прикрыл глаза и заиграл медленнее; Цыганок на минуту остановился и, подскочив, пошел вприсядку кругом бабушки, а она плыла по полу бесшумно, как по воздуху, разводя руками, подняв брови, глядя куда-то вдаль темными глазами. Мне она показалась смешной, я фыркнул; мастер строго погрозил мне пальцем, и все взрослые посмотрели в мою сторону неодобрительно.

— Не стучи, Иван! — сказал мастер, усмехаясь; Цыганок послушно отскочил в сторону, сел на порог, а нянька Евгенья, выгнув кадык, запела низким, приятным голосом:

Всю неделю, до субботы,
Плела девка кружева,
Истомилася работой, —
Эх, просто чуть жива!

Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идет тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, и все ее большое тело колеблется нерешительно, ноги щупают дорогу осторожно. Остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло доброй, приветливой улыбкой. Откачнулась в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то; опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь все веселее, — и вдруг ее сорвало с места, закружило вихрем, вся она стала стройней, выше ростом, и уж нельзя было глаз отвести от нее — так буйно-красива и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности!

А нянька Евгенья гудела, как труба:

В воскресенье от обедни
До полуночи плясала.
Ушла с улицы последней,
Жаль — праздника мало!

Кончив плясать, бабушка села на свое место к самовару; все хвалили ее, а она, поправляя волосы, говорила:

— А вы полноте-ка! Не видали вы настоящих-то плясуний. А вот у нас в Балахне была девка одна, — уж и не помню чья, как звали, — так иные, глядя на ее пляску,

даже плакали в радости! Глядишь, бывало, на нее, — вот тебе и праздник, и боле ничего не надо. Завидовала я ей, грешница!

— Певцы да плясуны — первые люди на миру! — строго сказала нянька Евгенья и начала петь что-то про царя Давида, а дядя Яков, обняв Цыганка, говорил ему:

— Тебе бы в трактирах плясать, — с ума свел бы ты людей!..

— Мне голос иметь хочется! — жаловался Цыганок. — Ежели бы голос Бог дал, десять лет я бы попел, а после — хоть в монахи!

Все пили водку, особенно много — Григорий. Наливая ему стакан за стаканом, бабушка предупреждала:

— Гляди, Гриша, вовсе ослепнешь!

Он отвечал солидно:

— Пускай! Мне глаза больше не надобны, — все видел я...

Пил он не пьянея, но становился все более разговорчивым и почти всегда говорил мне про отца:

— Большого сердца был муж, дружок мой, Максим Савватеич...

Бабушка вздыхала, поддакивая:

— Да, Господне дитя...

Все было страшно интересно, все держало меня в напряжении, и от всего просачивалась в сердце какая-то тихая, неутомляющая грусть. И грусть и радость жили в людях рядом, нераздельно почти, заменяя одна другую с неуловимой, непонятной быстротой.

Однажды дядя Яков, не очень пьяный, начал рвать на себе рубаху, яростно дергать себя за кудри, за редкие белесые усы, за нос и отвисшую губу.

— Что это такое, что? — выл он, обливаясь слезами.— Зачем это?

Бил себя по щекам, по лбу, в грудь и рыдал:

— Негодяй и подлец, разбитая душа!

Григорий рычал:

— Ага-а! То-то вот!..

А бабушка, тоже нетрезвая, уговаривала сына, ловя его руки:

— Полно, Яша, Господь знает, чему учит!

Выпивши, она становилась еще лучше: темные ее глаза, улыбаясь, изливали на всех греющий душу свет, и, обмахивая платком разгоревшееся лицо, она певуче говорила:

— Господи, Господи! Как хорошо все! Нет, вы глядите, как хорошо-то все!

Это был крик ее сердца, лозунг всей жизни.

Меня очень поразили слезы и крики беззаботного дяди. Я спросил бабушку, отчего он плакал и ругал и бил себя.

— Все бы тебе знать! — неохотно, против обыкновения, сказала она. — Погоди, рано тебе торкаться в эти дела...

Это еще более возбудило мое любопытство. Я пошел в мастерскую и привязался к Ивану, но и он не хотел ответить мне, смеялся тихонько, искоса поглядывая на мастера, и, выталкивая меня из мастерской, кричал:

— Отстань, отойди! Вот я тебя в котел спущу, выкрашу!

Мастер, стоя перед широкой низенькой печью со вмазанными в нее тремя котлами, помешивал в них длинной черной мешалкой и, вынимая ее, смотрел, как стекают с конца цветные капли. Жарко горел огонь, отражаясь на подоле кожаного передника, пестрого, как риза попа. Шипела в котлах окрашенная вода, едкий пар густым облаком тянулся к двери, по двору носился сухой поземок.

Мастер взглянул на меня из-под очков мутными, красными глазами и грубо сказал Ивану:

— Дров! Али не видишь?

А когда Цыганок выбежал во двор, Григорий, присев на куль сандала, поманил меня к себе:

— Подь сюда!

Посадил на колени и, уткнувшись теплой, мягкой бородой в щеку мне, памятно рассказал:

— Дядя твой жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дергает, — понял? Тебе все надо понимать, гляди, а то пропадешь!

С Григорием — просто, как с бабушкой, но жутко, и кажется, что он из-под очков видит все насквозь.

— Как забил? — говорит он не торопясь. — А так: ляжет спать с ней, накроет ее одеялом с головой и тискает, бьет. Зачем? А он, поди, и сам не знает.

И, не обращая внимания на Ивана, который, возвратясь с охапкой дров, сидит на корточках перед огнем, грея руки, мастер продолжает внушительно:

— Может, за то бил, что была она лучше его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего со света сживали. Она все скажет — она неправду не любит, не понимает. Она вроде святой, хоть и вино пьет, табак нюхает. Блаженная как бы. Ты держись за нее крепко...

Он оттолкнул меня, и я вышел во двор, удрученный, напуганный. В сенях дома меня догнал Ванюшка, схватил за голову и шепнул тихонько:

— Ты не бойся его, он добрый; ты гляди прямо в глаза ему, он это любит.

Все было странно и волновало. Я не знал другой жизни, но смутно помнил, что отец и мать жили не так: были у них другие речи, другое веселье, ходили и сидели они всегда рядом, близко. Они часто и подолгу смеялись вечерами, сидя у окна, пели громко; на улице собирались люди, глядя на них. Лица людей, поднятые вверх, смешно напоминали мне грязные тарелки после обеда. Здесь смеялись мало, и не всегда было ясно, над чем смеются. Часто кричали друг на друга, грозили чем-то один другому, тайно шептались в углах. Дети были тихи, незаметны; они прибиты к земле, как пыль дождем. Я чувствовал себя чужим в доме, и вся эта жизнь возбуждала меня десятками уколов, настраивая подозрительно, заставляя присматриваться ко всему с напряженным вниманием.

Моя дружба с Иваном все росла; бабушка от восхода солнца до поздней ночи была занята работой по дому, и я почти весь день вертелся около Цыганка. Он все так же подставлял под розги руку свою, когда дедушка сек меня, а на другой день, показывая опухшие пальцы, жаловался мне:

— Нет, это все без толку! Тебе — не легче, а мне — гляди-ка вот! Больше я не стану, ну тебя!

И в следующий раз снова принимал ненужную боль.

— Ты ведь не хотел?

— Не хотел, да вот сунул... Так уж как-то, незаметно...

Вскоре я узнал про Цыганка нечто, еще больше поднявшее мой интерес к нему и мою любовь.

Каждую пятницу Цыганок запрягал в широкие сани гнедого мерина Шарапа, любимца бабушки, хитрого озорника и сластену; одевал короткий, до колен, полушубок, тяжелую шапку и, туго подпоясавшись зеленым кушаком, ехал на базар покупать провизию. Иногда он не возвращался долго. Все в доме беспокоились, подходили к окнам и, протаивая дыханием лед на стеклах, заглядывали на улицу.

— Не едет?

— Нет!

Больше всех волновалась бабушка.

— Эхма, — говорила она сыновьям и деду, — погубите вы мне человека и лошадь погубите! И как не стыдно вам, рожи бессовестные? Али мало своего? Ох, неумное племя, жадюги, — накажет вас Господь!

Дедушка хмуро ворчал:

— Ну, ладно. Последний раз это...

Иногда Цыганок возвращался только к полудню; дядья, дедушка поспешно шли во двор; за ними, ожесточенно нюхая табак, медведицей двигалась бабушка, почему-то всегда неуклюжая в этот час. Выбегали дети, и начиналась веселая разгрузка саней, полных поросятами, битой птицей, рыбой и кусками мяса всех сортов.

— Всего купил, как сказано было? — спрашивал дед, искоса острыми глазами ощупывая воз.

— Все, как надо, — весело отзывался Иван и, прыгая по двору, чтобы согреться, оглушительно хлопал рукавицами.

— Не бей голиц, за них деньги даны, — строго кричал дед. — Сдача есть?

— Нету.

Дед медленно обходил вокруг воза и говорил негромко:

— Опять что-то много ты привез. Гляди однако — не без денег ли покупал? У меня чтобы не было этого.

И уходил быстро, сморщив лицо.

Дядья весело бросались к возу и, взвешивая на руках птицу, рыбу, гусиные потроха, телячьи ноги, огромные куски мяса, посвистывали, одобрительно шумели:

— Ну, ловко отобрал!

Дядя Михаил особенно восхищался: пружинисто прыгал вокруг воза, принюхиваясь ко всему носом дятла, вкусно чмокая губами, сладко жмуря беспокойные глаза, сухой, похожий на отца, но выше его ростом и черный, как головня. Спрятав озябшие руки в рукава, он расспрашивал Цыганка:

— Тебе отец сколько дал?

— Пять целковых.

— А тут на пятнадцать. А сколько ты потратил?

— Четыре с гривной.

— Стало быть, девять гривен в кармане. Видал, Яков, как деньги растят?

Дядя Яков, стоя на морозе в одной рубахе, тихонько посмеивался, моргая в синее холодное небо.

— Ты нам, Ванька, по косушке[1] поставь, — лениво говорил он.

Бабушка распрягала коня.

— Что, дитятко? Что, котенок? Пошалить охота? Ну, побалуй, Богова забава!

Огромный Шарап, взмахивая густою гривой, царапал ее белыми зубами за плечо, срывал шелковую головку[2] с волос, заглядывал в лицо ей веселым глазом и, встряхивая иней с ресниц, тихонько ржал.

— Хлебца просишь?

Она совала в зубы ему большую краюху, круто посоленную, мешком подставляла передник под морду и смотрела задумчиво, как он ест.

Цыганок, играючи тоже, как молодой конь, подскочил к ней.

— Уж так, бабаня, хорош мерин, так умен...

— Поди прочь, не верти хвостом! — крикнула бабушка, притопнув ногою. — Знаешь, что не люблю я тебя в этот день.

Она объяснила мне, что Цыганок не столько покупает на базаре, сколько ворует.

— Даст ему дед пятишницу, он на три рубля купит, а на десять украдет, — невесело говорила она. — Любит воро-

[1] *Косу́шка* — полбутылки водки.

[2] *Голо́вка* — головная повязка у замужних женщин.

вать, баловник! Раз попробовал — ладно вышло, а дома посмеялись, похвалили за удачу, он и взял воровство в обычай. А дедушка смолоду бедности-горя досыта отведал — под старость жаден стал, ему деньги дороже детей кровных, он рад даровщине! А Михайло с Яковом...

Махнув рукой, она замолчала на минуту, потом, глядя в открытую табакерку, прибавила ворчливо:

— Тут, Леня, дела-кружева, а плела их слепая баба, где уж нам узор разобрать! Вот поймают Иванку на воровстве, — забьют до смерти...

И еще, помолчав, она тихонько сказала:

— Эхе-хе! Правил у нас много, а правды нет...

На другой день я стал просить Цыганка, чтоб он не воровал больше.

— А то тебя будут бить до смерти...

— Не достигнут, — вывернусь: я ловкий, конь резвый! — сказал он, усмехаясь, но тотчас грустно нахмурился. — Ведь я знаю: воровать нехорошо и опасно. Это я так себе, от скуки. И денег я не коплю, дядья твои за неделю-то все у меня выманят. Мне не жаль, берите! Я сыт.

Он вдруг взял меня на руки, потряс тихонько.

— Легкий ты, тонкий, а кости крепкие, силач будешь. Ты знаешь что: учись на гитаре играть, проси дядю Якова, ей-богу! Мал ты еще, вот незадача! Мал ты, а сердитый. Дедушку-то не любишь?

— Не знаю.

— А я всех Кашириных, кроме бабани, не люблю, пускай их демон любит!

— А меня?

— Ты — не Каширин, ты — Пешков, другая кровь, другое племя...

И вдруг, стиснув меня крепко, он почти застонал:

— Эх, кабы голос мне певучий, ух ты, Господи! Вот ожег бы я народ... Иди, брат, работать надо...

Он спустил меня на пол, всыпал в рот себе горсть мелких гвоздей и стал натягивать, набивать на большую квадратную доску сырое полотнище черной материи. Вскоре он погиб.

Случилось это так: на дворе, у ворот, лежал, прислонен к забору, большой дубовый крест с толстым суковатым

комлем[1]. Лежал он давно. Я заметил его в первые же дни жизни в доме, — тогда он был новее и желтей, но за осень сильно почернел под дождями. От него горько пахло моренным дубом, и был он на тесном, грязном дворе лишним.

Его купил дядя Яков, чтобы поставить над могилою своей жены, и дал обет отнести крест на своих плечах до кладбища в годовщину смерти ее.

Этот день наступил в субботу, в начале зимы; было морозно и ветрено, с крыш сыпался снег. Все из дома вышли на двор, дед и бабушка с тремя внучатами еще раньше уехали на кладбище служить панихиду; меня оставили дома в наказание за какие-то грехи.

Дядья, в одинаковых черных полушубках, приподняли крест с земли и встали под крылья; Григорий и какой-то чужой человек, с трудом подняв тяжелый комель, положили его на широкое плечо Цыганка; он пошатнулся, расставил ноги.

— Не сдюжишь? — спросил Григорий.

— Не знаю. Тяжело будто...

Дядя Михаил сердито закричал:

— Отворяй ворота, слепой черт!

А дядя Яков сказал:

— Стыдись, Ванька, мы оба жиже тебя!

Но Григорий, распахивая ворота, строго посоветовал Ивану:

— Гляди же, не перемогайся! Пошли с Богом!

— Плешивая дура! — крикнул дядя Михаил с улицы.

Все, кто был на дворе, усмехнулись, заговорили громко, как будто всем понравилось, что крест унесли.

Григорий Иванович, ведя меня за руку в мастерскую, говорил:

— Может, сегодня дедушка не посечет тебя, ласково глядит он...

В мастерской, усадив меня на груду приготовленной в краску шерсти и заботливо окутав ею до плеч, он, понюхивая восходивший над котлами пар, задумчиво говорил:

— Я, милый, тридцать семь лет дедушку знаю, в начале дела видел и в конце гляжу. Мы с ним раньше друж-

[1] *Ко́мель* — здесь: нижний конец деревянного креста.

ки-приятели были, вместе это дело начали, придумали. Он умный, дедушка! Вот он хозяином поставил себя, а я не сумел. Господь, однако, всех нас умнее: он только улыбнется, а самый премудрый человек уж и в дураках мигает. Ты еще не понимаешь, что к чему говорится, к чему делается, а надобно тебе все понимать. Сиротское житье трудное. Отец твой, Максим Савватеич, козырь[1] был, он все понимал, — за то дедушка и не любил его, не признавал...

Было приятно слушать добрые слова, глядя, как играет в печи красный и золотой огонь, как над котлами вздымаются молочные облака пара, оседая сизым инеем на досках косой крыши, — сквозь мохнатые щели ее видны голубые ленты неба. Ветер стал тише, где-то светит солнце, весь двор точно стеклянной пылью посыпан, на улице взвизгивают полозья саней, голубой дым вьется из труб дома, легкие тени скользят по снегу, тоже что-то рассказывая.

Длинный, костлявый Григорий, бородатый, без шапки, с большими ушами, точно добрый колдун, мешает кипящую краску и все учит меня:

— Гляди всем прямо в глаза; собака на тебя бросится, и ей тоже, — отстанет...

Тяжелые очки надавили ему переносье, конец носа налился синей кровью и похож на бабушкин.

— Стой-ко! — вдруг сказал он, прислушиваясь, потом прикрыл ногою дверцу печи и прыжками побежал по двору. Я тоже бросился за ним.

В кухне, среди пола, лежал Цыганок, вверх лицом; широкие полосы света из окон падали ему одна на голову, на грудь, другая — на ноги. Лоб его странно светился; брови высоко поднялись; косые глаза пристально смотрели в черный потолок; темные губы, вздрагивая, выпускали розовые пузыри; из углов губ, по щекам, на шею и на пол стекала кровь; она текла густыми ручьями из-под спины. Ноги Ивана неуклюже развалились, и видно было, что шаровары мокрые; они тяжело приклеились к половицам. Пол был чисто вымыт с дресвою[2]. Он солнечно блестел.

[1] *Ко́зырь* — здесь: умный, опытный и самостоятельный человек.
[2] *Дресва́* — мелкий щебень или крупный песок.

Ручьи крови пересекали полосы света и тянулись к порогу, очень яркие.

Цыганок не двигался, только пальцы рук, вытянутых вдоль тела, шевелились, царапаясь за пол, и блестели на солнце окрашенные ногти.

Нянька Евгенья, присев на корточки, вставляла в руку Ивана тонкую свечу; Иван не держал ее, свеча падала, кисточка огня тонула в крови; нянька, подняв ее, отирала концом запона и снова пыталась укрепить в беспокойных пальцах. В кухне плавал качающий шепот; он, как ветер, толкал меня с порога, но я крепко держался за скобу двери.

— Споткнулся он, — каким-то серым голосом рассказывал дядя Яков, вздрагивая и крутя головою. Он весь был серый, измятый, глаза у него выцвели и часто мигали.

— Упал, а его и придавило, — в спину ударило. И нас бы покалечило, да мы вовремя сбросили крест.

— Вы его и задавили, — глухо сказал Григорий.

— Да, — как же...

— Вы!

Кровь все текла, под порогом она уже собралась в лужу, потемнела и как будто поднималась вверх. Выпуская розовую пену, Цыганок мычал, как во сне, и таял, становился все более плоским, приклеиваясь к полу, уходя в него.

— Михайло в церковь погнал на лошади за отцом, — шептал дядя Яков, — а я на извозчика навалил его, да скорее сюда уж... Хорошо, что не сам я под комель-то встал, а то бы вот...

Нянька снова прикрепила свечу к руке Цыганка, капала на ладонь ему воском и слезами.

Григорий громко и грубо сказал:

— Да ты в головах к полу прилепи, чуваша!

— И то.

— Шапку-то сними с него!

Нянька стянула с головы Ивана шапку; он тупо стукнулся затылком. Теперь голова его сбочилась, и кровь потекла обильней, но уже с одной стороны рта. Это про-

должалось ужасно долго. Сначала я ждал, что Цыганок отдохнет, поднимется, сядет на полу и, сплюнув, скажет:

— Ф-фу, жарынь...

Так делал он, когда просыпался по воскресеньям после обеда. Но он не вставал, все таял. Солнце уже отошло от него, светлые полосы укоротились и лежали только на подоконниках. Весь он потемнел, уже не шевелил пальцами, и пена на губах исчезла. За теменем и около ушей его торчали три свечи, помахивая золотыми кисточками, освещая лохматые, досиня черные волосы, желтые зайчики дрожали на смуглых щеках, светился кончик острого носа и розовые зубы.

Нянька, стоя на коленях, плакала, пришептывая:

— Голубчик ты мой, ястребенок утешный...

Было жутко, холодно. Я залез под стол и спрятался там. Потом в кухню тяжко ввалился дед в енотовой шубе, бабушка в салопе[1], с хвостами на воротнике, дядя Михаил, дети и много чужих людей.

Сбросив шубу на пол, дед закричал:

— Сволочи! Какого вы парня зря извели! Ведь ему бы цены не было лет через пяток...

На пол валилась одежда, мешая мне видеть Ивана; я вылез, попал под ноги деда. Он отшвырнул меня прочь, грозя дядьям маленьким красным кулаком:

— Волки!

И сел на скамью, упершись в нее руками, сухо всхлипывая, говоря скрипучим голосом:

— Знаю я, — он вам поперек глоток стоял... Эх, Ванюшечка... дурачок! Что поделаешь, а? Что — говорю — поделаешь? Кони — чужие, вожжи — гнилые. Мать, невзлюбил нас Господь за последние года, а? Мать?

Распластавшись на полу, бабушка щупала руками лицо, голову, грудь Ивана, дышала в глаза ему, хватала за руки, мяла их и повалила все свечи. Потом она тяжело поднялась на ноги, черная вся, в черном блестящем платье, страшно вытаращила глаза и сказала негромко:

— Вон, окаянные!

Все, кроме деда, высыпались из кухни.

...Цыганка похоронили незаметно, непамятно.

[1] *Салóп* — широкое дамское пальто старинного покроя.

IV

Однажды... дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом сказал:

— Ну, мать, посетил нас Господь, — горим!

— Да что ты! — крикнула бабушка, вскинувшись с пола, и оба, тяжко топая, бросились в темноту большой парадной комнаты.

— Евгенья, снимай иконы! Наталья, одевай ребят! — строго, крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл:

— И-и-ы...

Я выбежал в кухню; окно на двор сверкало, точно золотое; по полу текли-скользили желтые пятна; босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и кричал:

— Это Мишка поджег, поджег да ушел, ага!

— Цыц, пес, — сказала бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал.

Сквозь иней на стеклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью ее вихрится кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно; лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскаленными кривыми гвоздями. По темным доскам сухой крыши, быстро опутывая ее, извивались золотые, красные ленты; среди них крикливо торчала и курилась дымом гончарная тонкая труба; тихий треск, шелковый шелест бился в стекла окна; огонь все разрастался; мастерская, изукрашенная им, становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе.

Накинув на голову тяжелый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сени, на крыльцо и обомлел, ослепленный яркой игрою огня, оглушенный криками деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки: накинув на голову пустой мешок,

обернувшись попоной, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая:

— Купорос, дураки! Взорвет купорос...

— Григорий, держи ее! — выл дедушка. — Ой, пропала...

Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутыль купоросного масла.

— Отец, лошадь выведи! — хрипя, кашляя, кричала она. — Снимите с плеч-то — горю, али не видно?..

Григорий сорвал с плеч ее тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатою в дверь мастерской большие комья снега; дядя прыгал около него с топором в руках; дед бежал около бабушки, бросая в нее снегом; она сунула бутыль в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям, говорила:

— Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал — наше все дотла сгорит, и ваше займется! Рубите крышу, сено — в сад! Григорий, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь! Яков, не суетись, давай топоры людям, лопаты! Батюшки-соседи, беритесь дружней, — Бог вам на помочь.

Она была так же интересна, как и пожар: освещаемая огнем, который словно ловил ее, черную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, все видя.

На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда; огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули; лошадь захрапела, уперлась передними ногами; дедушка выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув:

— Мать, держи!

Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала пред ним крестом; конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя.

— А ты не бойся! — басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. — Али я тебя оставлю в страхе этом? Ох ты, мышонок...

Мышонок, втрое больший ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо.

Нянька Евгенья вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и закричала:



«Детство». *Худ. Б. Дехтерев*

— Василий Васильевич, Лексея нет...

— Пошла, пошла! — ответил дедушка, махая рукой, а я спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и меня.

Крыша мастерской уже провалилась; торчали в небо тонкие жерди стропил, курясь дымом, сверкая золотом углей; внутри постройки с воем и треском взрывались зеленые, синие, красные вихри, пламя снопами выкидывалось во двор, на людей, толпившихся пред огромным костром, кидая в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы, густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слезы из глаз; я выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушке.

— Уйди! — крикнула она. — Задавят, уйди...

На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой, орал, грозя:

— Раздайсь!

Весело и торопливо звенели колокольчики, все было празднично-красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо:

— Я кому говорю? Уйди!

Нельзя было не послушать ее в этот час. Я ушел в кухню, снова прильнул к стеклу окна, но за темной кучей людей уж не видно огня, — только медные шлемы сверкают среди зимних черных шапок и картузов.

Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали, полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка.

— Это кто? Ты-и? Не спишь, боишься? Не бойся, все уж кончилось...

Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота; но и огня было жалко.

Дед вошел, остановился у порога и спросил:

— Мать?

— Ой?

— Обожглась?

— Ничего.

Он зажег серную спичку, осветил синим огнем свое лицо хорька, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и не торопясь сел рядом с бабушкой.

— Умылся бы, — сказала она, тоже вся в саже, пропахшая едким дымом.

Дед вздохнул:

— Милостив Господь бывает до тебя, большой тебе разум дает...

И, погладив ее по плечу, добавил, оскалив зубы:

— На краткое время, на час, а дает!..

Бабушка тоже усмехнулась, хотела что-то сказать, но дед нахмурился.

— Григория рассчитать надо — это его недосмотр! Отработал мужик, отжил! На крыльце Яшка сидит, плачет, дурак... Пошла бы ты к нему...

Она встала и ушла, держа руку перед лицом, дуя на пальцы, а дед, не глядя на меня, тихо спросил:

— Весь пожар видел, сначала? Бабушка-то как, а? Старуха ведь... Бита, ломана... То-то же! Эх вы-и...

V

К весне дядья разделились; Яков остался в городе, Михаил уехал за реку, а дед купил себе большой интересный дом на Полевой улице, с кабаком в нижнем каменном этаже, с маленькой уютной комнаткой на чердаке и садом, который опускался в овраг, густо ощетинившийся голыми прутьями ивняка.

— Розог-то! — сказал дед, весело подмигнув мне, когда, осматривая сад, я шел с ним по мягким, протаявшим дорожкам.

— Вот я тебя скоро грамоте начну учить, так они сгодятся...

Помню, был тихий вечер; мы с бабушкой пили чай в комнате деда; он был нездоров, сидел на постели без рубахи, накрыв плечи длинным полотенцем, и, ежеминутно отирая обильный пот, дышал часто, хрипло. Зеленые глаза его помутнели, лицо опухло, побагровело, особенно багровы были маленькие острые уши. Когда он протягивал руку за чашкой чая, рука жалобно тряслась. Был он кроток и не похож на себя.

— Что мне сахару не даешь? — капризным тоном балованного ребенка спрашивал он бабушку. Она отвечала ласково, но твердо:

— С медом пей, это тебе лучше!

Задыхаясь, крякая, он быстро глотал горячий чай и говорил:

— Ты гляди, не помереть бы мне!

— Не бойся, догляжу.

— То-то! Теперь помереть — это будет как бы вовсе и не жил, — все прахом пойдет!

— А ты не говори, лежи немо!

С минуту он молчал, закрыв глаза, почмокивая темными губами, и вдруг, точно уколотый, встряхивался, соображал вслух:

— Яшку с Мишкой женить надобно как можно скорей; может, жены да новые дети попридержат их, — а?

И вспоминал, у кого в городе есть подходящие невесты. Бабушка помалкивала, выпивая чашку за чашкой; я сидел у окна, глядя, как рдеет над городом вечерняя заря и красно сверкают стекла в окнах домов, — дедушка запретил мне гулять по двору и саду за какую-то провинность.

В саду, вокруг берез, гудя летали жуки, бондарь работал на соседнем дворе, где-то близко точили ножи; за садом, в овраге, шумно возились ребятишки, путаясь среди густых кустов. Очень манило на волю, вечерняя грусть вливалась в сердце.

Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку, громко шлепнул ею по ладони и бодро позвал меня:

— Ну-ка, ты, пермяк, солены уши, поди сюда! Садись, скула калмыцкая. Видишь фигуру? Это — аз. Говори: аз! Буки! Веди! Это — что?

— Буки.

— Попал! Это?

— Веди.

— Врешь, аз! Гляди: глаголь, добро, есть, — это что?

— Добро.

— Попал! Это?

— Глаголь.

— Верно! А это?

— Аз.

Вступилась бабушка:

— Лежал бы ты, отец, смирно...

— Стой, молчи! Это мне в пору, а то меня мысли одолевают. Валяй, Лексей!

Он обнял меня за шею горячей, влажной рукою и через плечо мое тыкал пальцем в буквы, держа книжку под носом моим. От него жарко пахло уксусом, потом и печеным луком, я почти задыхался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо мне:

— Земля! Люди!

Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им: «земля» походила на червяка, «глаголь» — на сутулого Григория, «я» — на бабушку со мною, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял



«Детство». *Худ. Б. Дехтерев*

меня по алфавиту, спрашивая и вряд, и вразбивку; он заразил меня своей горячей яростью, я тоже вспотел и кричал во все горло. Это смешило его; хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу и хрипел:

— Мать, ты гляди, как взвился, а? Ах, лихорадка астраханская, чего ты орешь, чего?

— Это вы кричите...

Мне весело было смотреть на него и на бабушку: она, облокотясь о стол, упираясь кулаком в щеки, смотрела на нас и негромко смеялась, говоря:

— Да будет вам надрываться-то!..

Дед объяснял мне дружески:

— Я кричу, потому что я нездоровый, а ты чего?

И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою:

— А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него нету, память, слава Богу, лошадиная! Вали дальше, курнос!

Наконец он шутливо столкнул меня с кровати.

— Будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак...

Грамота давалась мне легко, дедушка смотрел на меня все внимательнее и все реже сек, хотя, по моим соображениям, сечь меня следовало чаще прежнего: становясь взрослее и бойчей, я гораздо чаще стал нарушать дедовы правила и наказы, а он только ругался да замахивался на меня.

Мне подумалось, что, пожалуй, раньше-то он меня напрасно бил, и я однажды сказал ему это.

Легким толчком в подбородок он приподнял голову мою и, мигая, протянул:

— Чего-о?

И дробно засмеялся, говоря:

— Ах ты, еретик! Да как ты можешь сосчитать, сколько тебя сечь надобно? Кто может знать это, кроме меня? Сгинь, пошел!

Но тотчас же схватил меня за плечо и снова, заглянув в глаза, спросил:

— Хитер ты али простодушен, а?

— Не знаю...

— Не знаешь? Ну, так я тебе скажу: будь хитер, это лучше, а простодушность — та же глупость, понял? Баран простодушен. Запомни! Айда, гуляй...

Вскоре я уже читал по складам псалтирь; обыкновенно этим занимались после вечернего чая, и каждый раз я должен был прочитать псалом.

VII

Меня не пускали гулять на улицу, потому что она слишком возбуждала меня, я точно хмелел от ее впечатлений и почти всегда становился виновником скандалов и буйств. Товарищей у меня не заводилось, соседские ребятишки относились ко мне враждебно; мне не нравилось, что они зовут меня Кашириным, а они, замечая это, тем упорнее кричали друг другу:

— Кощея Каширина внучонок вышел, глядите!

— Валяй его!

И начиналась драка.

Был я не по годам силен и в бою ловок, — это признавали сами же враги, всегда нападавшие на меня кучей. Но все-таки улица всегда била меня, и домой я приходил обыкновенно с расквашенным носом, рассеченными губами и синяками на лице, оборванный, в пыли.

Бабушка встречала меня испуганно, соболезнуя:

— Что, редькин сын, опять дрался? Да что же это такое, а! Как я тебя начну, с руки на руку...

Мыла мне лицо, прикладывала к синякам бодягу[1], медные монеты или свинцовую примочку и уговаривала:

— Ну, что ты все дерешься? Дома смирный, а на улице ни на что не похож! Бесстыдник. Вот скажу дедушке, чтоб он не выпускал тебя...

Дедушка видел мои синяки, но никогда не ругался, только крякал и мычал:

— Опять с медалями? Ты у меня, Аника-воин, не смей на улицу бегать, слышишь!

Меня и не тянула улица, если на ней было тихо, но когда я слышал веселый ребячий гам, то убегал со двора, не глядя на дедов запрет. Синяки и ссадины не обижали, но неизменно возмущала жестокость уличных забав, — жестокость, слишком знакомая мне, доводившая до бешенства. Я не мог терпеть, когда ребята стравливали собак или петухов, истязали кошек, гоняли еврейских коз, издевались над пьяными нищими и блаженным Игошей Смерть в Кармане.

Это был высокий, сухой и копченый человек, в тяжелом тулупе из овчины, с жесткими волосами на костлявом, заржавевшем лице. Он ходил по улице согнувшись, странно качаясь и молча упорно смотрел в землю под ноги себе. Его чугунное лицо, с маленькими грустными глазами, внушало мне боязливое почтение, — думалось, что этот человек занят серьезным делом, он чего-то ищет, и мешать ему не надобно.

[1] *Бодя́га* — пресноводная губка, употреблявшаяся как лекарство от ревматизма, опухолей и пр.

Мальчишки бежали за ним, лукая камнями в сутулую спину. Он долго как бы не замечал их и не чувствовал боли ударов, но вот остановился, вскинул голову в мохнатой шапке, поправил шапку судорожным движением руки и оглядывается, словно только что проснулся.

— Игоша Смерть в Кармане! Игош, куда идешь! Гляди — смерть в кармане! — кричат мальчишки.

Он хватался рукою за карман, потом, быстро наклонясь, поднимал с земли камень, чурку, ком сухой грязи и, неуклюже размахивая длинной рукою, бормотал ругательство. Ругался он всегда одними и теми же тремя погаными словами, — в этом отношении мальчишки были неизмеримо богаче его. Иногда он гнался за ними, прихрамывая; длинный тулуп мешал ему бежать, он падал на колени, упираясь в землю черными руками, похожими на сухие сучки. Ребятишки садили ему в бока и спину камни, наиболее смелые подбегали вплоть и отскакивали, высыпав на голову его пригоршни пыли.

Другим и, может быть, еще более тяжелым впечатлением улицы был мастер Григорий Иванович. Он совсем ослеп и ходил по миру, высокий, благообразный, немой. Его водила под руку маленькая серая старушка; останавливаясь под окнами, она писклявым голосом тянула, всегда глядя куда-то вбок:

— Подайте, Христа ради, слепому, убогому...

А Григорий Иванович молчал. Черные очки его смотрели прямо в стену дома, в окно, в лицо встречного; насквозь прокрашенная рука тихонько поглаживала широкую бороду, губы его были плотно сжаты. Я часто видел его, но никогда не слыхал ни звука из этих замкнутых уст, и молчание старика мучительно давило меня. Я не мог подойти к нему, никогда не подходил, а, напротив, завидя его, бежал домой и говорил бабушке:

— Григорий ходит по улице!

— Ну? — беспокойно и жалостно восклицала она.— На-ко, беги, подай ему!

Я отказывался грубо и сердито. Тогда она сама шла за ворота и долго разговаривала с ним, стоя на тротуаре. Он усмехался, тряс бородой, но сам говорил мало, односложно.

Иногда бабушка, зазвав его в кухню, поила чаем, кормила. Как-то раз он спросил: где я? Бабушка позвала меня, но я убежал и спрятался в дровах. Не мог я подойти к нему, — было нестерпимо стыдно перед ним, и я знал, что бабушке тоже стыдно. Только однажды говорили мы с нею о Григории: проводив его за ворота, она шла тихонько по двору и плакала, опустив голову. Я подошел к ней, взял ее руку.

— Ты что же бегаешь от него? — тихо спросила она. — Он тебя любит, он хороший ведь...

— Отчего дедушка не кормит его? — спросил я.

— Дедушка-то?

Она остановилась, прижала меня к себе и почти шепотом, пророчески сказала:

— Помяни мое слово: горестно накажет нас Господь за этого человека! Накажет...

Она не ошиблась: лет через десять, когда бабушка уже успокоилась навсегда, дед сам ходил по улицам города нищий и безумный, жалостно выпрашивая под окнами:

— Повара мои добрые, подайте пирожка кусок, пирожка-то мне бы! Эх вы-и...

Прежнего от него только и осталось, что это горькое, тягучее, волнующее душу:

— Эх вы-и...

VIII

Дед неожиданно продал дом кабатчику, купив другой, по Канатной улице; немощеная, заросшая травою, чистая и тихая, она выходила прямо в поле и была снизана из маленьких, пестро окрашенных домиков.

Весь дом был тесно набит невиданными мною людьми: в передней половине жил военный из татар, с маленькой, круглой женою; она с утра до вечера кричала, смеялась, играла на богато украшенной гитаре и высоким, звонким голосом пела чаще других задорную песню...

Военный, круглый, как шар, сидя у окна, надувал синее лицо и, весело выкатывая какие-то рыжие глаза, непрерывно курил трубку, кашлял странным, собачьим звуком:

— Вух, вух-вух-хх...

В теплой пристройке над погребом и конюшней помещались двое ломовых извозчиков — маленький, сивый дядя Петр, немой племянник его Степа, гладкий, литой парень, с лицом, похожим на поднос красной меди, — и невеселый, длинный татарин Валей, денщик. Все это были люди новые, богатые незнакомым для меня.

Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе нахлебник[1] Хорошее Дело. Он снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную, в два окна — в сад и на двор.

Это был худощавый, сутулый человек, с белым лицом в черной раздвоенной бородке, с добрыми глазами, в очках. Был он молчалив, незаметен и, когда его приглашали обедать, чай пить, неизменно отвечал:

— Хорошее дело.

Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза.

— Ленька, кричи Хорошее Дело чай пить! Вы, Хорошее Дело, что мало кушаете?

Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами незнакомой мне гражданской печати; всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди и железа, прутья свинца. С утра до вечера он, в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрепанный и неловкий, плавил свинец, паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на маленьких весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на них, подходил, спотыкаясь, к чертежам на стене и, протерев очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким и прямым, странно белым носом. А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный.

Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно, видел синий огонь спиртовой лампы на столе, темную фигуру; видел, как он пишет что-то в растрепанной тетради, очки его блестят холодно и синевато, как льдины; колдовская работа этого человека часами держала меня на крыше, мучительно разжигая любопытство.

[1] *Нахлéбник* — здесь: столующийся жилец.

Иногда он, стоя в окне, как в раме, спрятав руки за спину, смотрел прямо на крышу, но меня как будто не видел, и это очень обижало. Вдруг отскакивал к столу и, согнувшись вдвое, рылся на нем.

Я думаю, что я боялся бы его, будь он богаче, лучше одет, но он был беден: над воротником его куртки торчал измятый, грязный ворот рубахи, штаны — в пятнах и заплатах, на босых ногах — стоптанные туфли. Бедные — не страшны, не опасны, в этом меня незаметно убедило жалостное отношение к ним бабушки и презрительное — со стороны деда.

Никто в доме не любил Хорошее Дело; все говорили о нем, посмеиваясь; веселая жена военного звала его «меловой нос», дядя Петр — аптекарем и колдуном, дед — чернокнижником[1], фармазоном.

— Чего он делает? — спросил я бабушку. Она строго откликнулась:

— Не твое дело; молчи, знай...

Однажды, собравшись с духом, я подошел к его окну и спросил, едва скрывая волнение:

— Ты чего делаешь?

Он вздрогнул, долго смотрел на меня поверх очков и, протянув мне руку в язвах и шрамах ожогов, сказал:

— Влезай...

То, что он предложил войти к нему не через дверь, а через окно, еще более подняло его в моих глазах. Он сел на ящик, поставил меня перед собой, отодвинул, придвинул снова и наконец спросил негромко:

— Ты откуда?

Это было странно: я четыре раза в день сидел в кухне за столом около него! Я ответил:

— Здешний, внук...

— Ага, да, — сказал он, осматривая свой палец, и замолчал.

Тогда я счел нужным пояснить ему:

— Я не Каширин, а Пешкóв...

— Пéшков? — неверно повторил он. — Хорошее дело.

[1] *Чернокни́жник* — по поверьям невежественных людей, колдун, связанный с нечистой силой.

Отодвинул меня в сторону, поднялся и, уходя к столу, сказал:

— Ну, сиди смирно...

Я сидел долго-долго, наблюдая, как он скоблит рашпилем кусок меди, зажатый в тиски; на картон под тисками падают золотые крупинки опилок. Вот он собрал их в горсть, высыпал в толстую чашку, прибавил к ним из баночки пыли, белой, как соль, облил чем-то из темной бутылки, — в чашке зашипело, задымилось, едкий запах бросился в нос мне, я закашлялся, замотал головою, а он, колдун, хвастливо спросил:

— Скверно пахнет?

— Да.

— То-то же! Это, брат, весьма хорошо!

«Чем хвастается!» — подумалось мне, и я строго сказал:

— Если скверно, так уж не хорошо...

— Ну? — воскликнул он, подмигивая. — Это, брат, не всегда, однако! А ты в бабки играешь?

— В козны?

— В козны, да?

— Играю.

— Хочешь, налиток сделаю? Хорошая битка будет!

— Хочу!

— Неси, давай бабку.

Он снова подошел ко мне, держа дымящуюся чашку в руке, заглядывая в нее одним глазом, подошел и сказал:

— Я тебе налиток сделаю; а ты за это не ходи ко мне. Хорошо?

Это меня прежестоко обидело.

— Я и так не приду никогда...

Обиженный, я ушел в сад. Там возился дедушка, обкладывая навозом корни яблонь; осень была, уже давно начался листопад.

— Ну-ко, подстригай малину, — сказал дед, подавая мне ножницы.

Я спросил его:

— Хорошее Дело чего строит?

— Горницу портит, — сердито ответил он. — Пол прожег, обои попачкал, ободрал. Вот скажу ему, — съезжал бы.

— Так и надо, — согласился я, принимаясь остригать сухие лозы малинника.

Но я поспешил.

Дождливыми вечерами, если дед уходил из дома, бабушка устраивала в кухне интереснейшие собрания, приглашая пить чай всех жителей: извозчиков, денщика, часто являлась бойкая Петровна, иногда приходила даже веселая постоялка, и всегда в углу, около печи, неподвижно и немотно торчал Хорошее Дело. Немой Степа играл с татарином в карты; Валей хлопал ими по широкому носу немого и приговаривал:

— Аш-шайтан!

Дядя Петр приносил огромную краюху белого хлеба и варенье «семечки» в большой глиняной банке, резал хлеб ломтями, щедро смазывал их вареньем и раздавал всем эти вкусные малиновые ломти, держа их на ладони, низко кланяясь.

— Пожалуйте-ко милостью, покушайте! — ласково просил он, а когда у него брали ломоть, он внимательно осматривал свою темную ладонь и, заметя на ней капельку варенья, слизывал его языком.

Петровна приносила вишневую наливку в бутылке, веселая барыня — орехи и конфеты. Начинался пир горой, любимое бабушкино удовольствие.

Спустя некоторое время после того, как Хорошее Дело предложил мне взятку за то, чтоб я не ходил к нему в гости, бабушка устроила такой вечер. Сыпался и хлюпал неуемный осенний дождь, ныл ветер, шумели деревья, царапая сучьями стену. В кухне было тепло, уютно, все сидели близко друг ко другу, все были как-то особенно мило тихи, а бабушка на редкость щедро рассказывала сказки, одна другой лучше.

Она сидела на краю печи, опираясь ногами о приступок, наклонясь к людям, освещенным огнем маленькой жестяной лампы; уж это всегда, если она была в ударе, она забиралась на печь, объясняя:

— Мне сверху надо говорить, — сверху-то лучше!

Я поместился у ног ее, на широком приступке, почти над головою Хорошего Дела. Бабушка сказывала хорошую

историю про Ивана-воина и Мирона-отшельника[1]; мерно лились сочные, веские слова...

Уже в начале рассказа бабушки я заметил, что Хорошее Дело чем-то обеспокоен: он странно, судорожно двигал руками, снимал и надевал очки, помахивал ими в меру певучих слов, кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами, и все вытирал быстрым движением ладони лоб и щеки, как сильно вспотевший. Когда кто-либо из слушателей двигался, кашлял, шаркал ногами, нахлебник строго шипел:

— Шш!

А когда бабушка замолчала, он бурно вскочил и, размахивая руками, как-то неестественно закружился, забормотал:

— Знаете, это удивительно, это надо записать, непременно! Это — страшно верное, наше...

Теперь ясно было видно, что он плачет, — глаза его были полны слез; они выступали сверху и снизу, глаза купались в них; это было странно и очень жалостно. Он бегал по кухне, смешно, неуклюже подпрыгивая, размахивал очками перед носом своим, желая надеть их, и все не мог зацепить проволоку за уши. Дядя Петр усмехался, поглядывая на него, все сконфуженно молчали, а бабушка торопливо говорила:

— Запишите, что же, греха в этом нету; я и еще много знаю эдакого...

— Нет, именно это! Это — страшно русское, — возбужденно выкрикивал нахлебник и, вдруг остолбенев среди кухни, начал громко говорить, рассекая воздух правой рукою, а в левой дрожали очки. Говорил долго, яростно, подвизгивая и притопывая ногою, часто повторяя одни и те же слова:

— Нельзя жить чужой совестью, да, да!

Потом вдруг как-то сорвался с голоса, замолчал, поглядел на всех и тихонько, виновато ушел, склонив голову. Люди усмехались, сконфуженно переглядываясь, бабушка отодвинулась глубоко на печь, в тень, и тяжко вздыхала там.

[1] *Отше́льник* — здесь: человек, удалившийся от мира.

Отирая ладонью красные, толстые губы, Петровна спросила:

— Рассердился будто?

— Не, — ответил дядя Петр. — Это он так себе...

Бабушка слезла с печи и стала молча подогревать самовар, а дядя Петр не торопясь говорил:

— Господа все такие — капризники!

Валей угрюмо буркнул:

— Холостой всегда дурит!

Все засмеялись, а дядя Петр тянул:

— До слез дошел. Видно, бывало, щука клевала, а ноне и плотва — едва...

Стало скучно; какое-то уныние щемило сердце. Хорошее Дело очень удивил меня, было жалко его, — так ясно помнились его утонувшие глаза.

Он не ночевал дома, а на другой день пришел после обеда, тихий, измятый, явно сконфуженный.

— Вчера я шумел, — сказал он бабушке виновато, словно маленький. — Вы не сердитесь?

— На что же?

— А вот, что я вмешался, говорил?

— Вы никого не обидели...

Я чувствовал, что бабушка боится его, не смотрит в лицо ему и говорит необычно — тихо слишком.

Он подошел вплоть к ней и сказал удивительно просто:

— Видите ли, я страшно один, нет у меня никого! Молчишь, молчишь, — и вдруг вскипит в душе, прорвет... Готов камню говорить, дереву...

Бабушка отодвинулась от него.

— А вы бы женились...

— Э! — воскликнул он, сморщившись, и ушел, махнув рукой.

Бабушка, нахмурясь, поглядела вслед ему, понюхала табаку и потом строго наказала мне:

— Ты, гляди, не очень вертись около него; Бог его знает, какой он такой...

А меня снова потянуло к нему.

Я видел, как изменилось, опрокинулось его лицо, когда он сказал «страшно один»; в этих словах было что-то понятное мне, тронувшее меня за сердце, и я пошел за ним.

Заглянул со двора в окно его комнаты, — она была пуста и похожа на чулан, куда наскоро, в беспорядке, брошены разные ненужные вещи, — такие же ненужные и странные, как их хозяин. Я пошел в сад и там, в яме, увидал его; согнувшись, закинув руки за голову, упираясь локтями в колени, он неудобно сидел на конце обгоревшего бревна; бревно было засыпано землею, а конец его, лоснясь углем, торчал в воздухе над жухлой полынью, крапивой, лопухом. И то, что ему было неудобно сидеть, еще более располагало к этому человеку.

Он долго не замечал меня, глядя куда-то мимо, слепыми глазами филина, потом вдруг спросил как будто с досадой:

— За мной?

— Нет.

— А что же?

— Так.

Он снял очки, протер их платком в красных и черных пятнах и сказал:

— Ну, полезай сюда!

Когда я сел рядом с ним, он крепко обнял меня за плечи.

— Сиди. Будем сидеть и молчать. Ладно? Вот это самое... Ты упрямый?

— Да.

— Хорошее дело!

Молчали долго. Вечер был тихий, кроткий, один из тех грустных вечеров бабьего лета, когда все вокруг так цветисто и так заметно линяет, беднеет с каждым часом, а земля уже истощила все свои сытные, летние запахи, пахнет только холодной сыростью, воздух же странно прозрачен, и в красноватом небе суетно мелькают галки, возбуждая невеселые мысли. Все немотно и тихо; каждый звук — шорох птицы, шелест упавшего листа — кажется громким, заставляет опасливо вздрогнуть, но, вздрогнув, снова замираешь в тишине — она обняла всю землю и наполняет грудь.

В такие минуты родятся особенно чистые, легкие мысли, но они тонки, прозрачны, словно паутины, и неуловимы словами. Они вспыхивают и исчезают быстро, как падающие звезды, обжигая душу печалью о чем-то, ласкают

ее, тревожат, и тут она кипит, плавится, принимая свою форму на всю жизнь, тут создается ее лицо.

Прижимаясь к теплому боку нахлебника, я смотрел вместе с ним сквозь черные сучья яблонь на красное небо, следил за полетами хлопотливых чечеток, видел, как щеглята треплют маковки сухого репья, добывая его терпкие зерна, как с поля тянутся мохнатые, сизые облака с багряными краями, а под облаками тяжело летят вороны ко гнездам, на кладбище. Все было хорошо и как-то особенно, не по-всегдашнему понятно и близко.

Иногда человек спрашивал, глубоко вздохнув:

— Славно, брат? То-то! А не сыро, не холодно?

А когда небо потемнело и все вокруг вспухло, наливаясь сырым сумраком, он сказал:

— Ну, будет! Идем...

У калитки сада он остановился, тихо говоря:

— Хороша у тебя бабушка, — о, какая земля!

Закрыв глаза и улыбаясь, прочитал негромко, очень внятно:

Это ему в наказанье дано:
Злого бы приказу не слушался,
За чужую совесть не прятался!..

— Ты, брат, запомни это очень!

И, поталкивая меня вперед, спросил:

— Писать умеешь?

— Нет.

— Научись. А научишься — записывай, что бабушка рассказывает, — это, брат, очень годится...

Мы подружились. С этого дня я приходил к Хорошему Делу, когда хотел, садился в ящик с каким-то тряпьем и невозбранно следил, как он плавит свинец, греет медь; раскалив, кует железные пластины на маленькой наковальне легким молотком с красивой ручкой, работает рашпилем, напильниками, наждаком и тонкой, как нитка, пилою. И все взвешивает на чутких медных весах. Сливая в толстые белые чашки разные жидкости, смотрит, как они дымятся, наполняют комнату едким запахом, — морщится, смотрит в толстую книгу и мычит, покусывая красные губы, или тихонько тянет сиповатым голосом:

О, роза Сарона...

— Это чего ты делаешь?

— Одну штуку, брат...

— Какую?

— А-а, видишь ли, не умею я сказать так, чтоб ты понял.

— Дедушка говорит, что ты, может, фальшивые деньги делаешь...

— Дедушка? Мм... это он пустяки говорит! Деньги, брат, — ерунда...

— А чем за хлеб платить?

— Н-да, брат, за хлеб надобно платить, верно...

— Видишь? И за говядину тоже...

— И за говядину...

Он тихонько, удивительно мило смеется, щекочет меня за ухом, точно кутенка, и говорит:

— Никак не могу я спорить с тобой, — забиваешь ты, брат, меня; давай лучше помолчим...

Иногда он прерывал работу, садился рядом со мною, и мы долго смотрели в окно, как сеет дождь на крыши, на двор, заросший травою, как беднеют яблони, теряя лист. Говорил Хорошее Дело скупо, но всегда какими-то нужными словами; чаще же, желая обратить на что-либо мое внимание, он тихонько толкал меня и показывал глазом, подмигивая.

Ничего особенного я не вижу на дворе, но от этих толчков локтем и от кратких слов все видимое кажется особо значительным, все крепко запоминается. Вот по двору бежит кошка, остановилась перед светлой лужей и, глядя на свое отражение, подняла мягкую лапу, точно ударить хочет его, — Хорошее Дело говорит тихонько:

— Кошки горды и недоверчивы...

Золотисто-рыжий петух Мамай, взлетев на изгородь сада, укрепился, встряхнул крыльями, едва не упал и, обидевшись, сердито бормочет, вытянув шею.

— Важен генерал, а не очень умный...

Идет неуклюжий Валей, ступая по грязи тяжело, как старая лошадь; скуластое лицо его надуто, он смотрит, прищурясь, в небо, а оттуда прямо на грудь ему падает белый осенний луч, — медная пуговица на куртке Валея горит, татарин остановился и трогает ее кривыми пальцами.

— Точно медаль получил, любуется...

Я быстро и крепко привязался к Хорошему Делу, он стал необходим для меня и во дни горьких обид, и в часы радостей. Молчаливый, он не запрещал мне говорить обо всем, что приходило в голову мою, а дед всегда обрывал меня строгим окриком:

— Не болтай, бесова мельница!

Бабушка же была так полна своим, что уж не слышала и не принимала чужого.

Хорошее Дело всегда слушал мою болтовню внимательно и часто говорил мне, улыбаясь:

— Ну, это, брат, не так, это ты сам выдумал...

И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы, — он как будто насквозь видел все, что делалось в сердце и голове у меня, видел все лишние, неверные слова раньше, чем я успевал сказать их, видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами:

— Врешь, брат!

Я нередко нарочно испытывал эту его колдовскую способность; бывало, выдумаю что-нибудь и рассказываю, как бывшее, но он, послушав немножко, отрицательно качал головою:

— Ну, врешь, брат...

— А почему ты знаешь?

— Уж я, брат, вижу...

Иногда он неожиданно говорил мне слова, которые так и остались со мною на всю жизнь. Рассказываю я ему о враге моем Клюшникове, бойце из Новой улицы, толстом, большеголовом мальчике, которого ни я не мог одолеть в бою, ни он меня. Хорошее Дело внимательно выслушал горести мои и сказал:

— Это — ерунда; такая сила — не сила! Настоящая сила — в быстроте движения; чем быстрей, тем сильней — понял?

В следующее воскресенье я попробовал действовать кулаками быстрее и легко победил Клюшникова. Это еще более подняло мое внимание к словам нахлебника.

— Всякую вещь надо уметь взять, — понимаешь? Это очень трудно — уметь взять!

Я не понял ничего, но невольно запоминал такие и подобные слова, — именно потому запоминал, что в простоте этих слов было нечто досадно таинственное: ведь не требовалось никакого особого уменья взять камень, кусок хлеба, чашку, молоток!

А в доме Хорошее Дело все больше не любили; даже ласковая кошка веселой постоялки не влезала на колени к нему, как лазала ко всем, и не шла на ласковый зов его. Я ее бил за это, трепал ей уши и, чуть не плача, уговаривал ее не бояться человека.

— У меня одежда пахнет кислотами — вот кошка и не идет ко мне, — объяснял он, но я знал, что все, даже бабушка, объясняли это иначе, враждебно нахлебнику, неверно и обидно.

— Пошто ты торчишь у него? — сердито спрашивала бабушка.— Гляди, научит он тебя чему-нибудь...

А дед жестоко колотил меня за каждое посещение нахлебника, которое становилось известно ему, рыжему хорьку. Я, конечно, не говорил Хорошему Делу о том, что мне запрещают знакомство с ним, но откровенно рассказывал, как относятся к нему в доме.

— Бабушка тебя боится; она говорит — чернокнижник ты, а дедушка тоже, что ты Богу враг и людям опасный...

Он дергал головою, как бы отгоняя мух; на меловом его лице розовато вспыхивала улыбка, от которой у меня сжималось сердце и зеленело в глазах.

— Я, брат, вижу уж! — тихонько говорил он. — Это, брат, грустно, а?

— Да!

— Грустно, брат...

Наконец, его выжили.

Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что он, сидя на полу, укладывает свои вещи в ящики, тихонько напевая о розе Сарона.

— Ну, прощай, брат, вот я и уезжаю...

— Зачем?

Он пристально посмотрел на меня, говоря:

— Разве ты не знаешь? Комната нужна для твоей матери...

— Это кто сказал?

— Дедушка...

— Врет он!

Хорошее Дело потянул меня за руку к себе, и, когда я сел на пол, он заговорил тихонько:

— Не сердись! А я, брат, подумал, что ты знаешь, да не сказал мне; это нехорошо, подумал я...

Было грустно и досадно на него за что-то.

— Послушай-ко, — почти шепотом говорил он, улыбаясь. — Ты помнишь, я тебе сказал: не ходи ко мне?

Я кивнул головой.

— Обиделся ты на меня, да?

— Да...

— А я, брат, не хотел тебя обидеть; я, видишь ли, знал: если ты со мной подружишься, твои станут ругать тебя, — так? Было так? Ты понял, почему я сказал это?

Он говорил, словно маленький, одних лет со мною; а я страшно обрадовался его словам; мне даже показалось, что я давно, еще тогда понял его; я так и сказал:

— Это я давно понял!

— Ну, вот! Так-то, брат. Вот это самое, голубчик...

У меня нестерпимо заныло сердце.

— Отчего они не любят тебя никто?

Он обнял меня, прижал к себе и ответил, подмигнув:

— Чужой — понимаешь? Вот за это самое. Не такой...

Я дергал его за рукав, не зная, не умея, что сказать.

— Не сердись, — повторил он и шепотом на ухо добавил:

— Плакать тоже не надо...

А у самого тоже слезы текут из-под мутных очков.

И потом, как всегда, мы долго сидели в молчании, лишь изредка перекидываясь краткими словами.

Вечером он уехал, ласково простившись со всеми, крепко обняв меня. Я вышел за ворота и видел, как он трясся на телеге, разминавшей колесами кочки мерзлой грязи. Тотчас после его отъезда бабушка принялась мыть и чистить грязную комнату, а я нарочно ходил из угла в угол и мешал ей.

— Уйди! — кричала она, натыкаясь на меня.

— Вы зачем прогнали его?

— А ты поговори!

— Дураки вы все, — сказал я.

Она стала шлепать меня мокрой тряпкой, крича:

— Да ты ошалел, пострел!

— Не ты, а все другие дураки, — поправился я, но это ее не успокоило.

За ужином дед говорил:

— Ну, слава Богу! А то, бывало, как увижу его, — нож в сердце: ох, надобно выгнать!

Я со зла изломал ложку и снова потерпел.

Так кончилась моя дружба с первым человеком из бесконечного ряда чужих людей в родной своей стране, — лучших людей ее...

XII

...Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновленной уверенностью, отвечаю себе — стоит; ибо это — живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной.

И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, — русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их.

Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе — человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой.

XIII

...Бабушка, сидя под окном, быстро плела кружева, весело щелкали коклюшки, золотым ежом блестела на вешнем солнце подушка, густо усеянная медными булавками.

И сама бабушка, точно из меди лита, — неизменна! А дед еще более ссохся, сморщился, его рыжие волосы посерели, спокойная важность движений сменилась горячей суетливостью, зеленые глаза смотрят подозрительно. Посмеиваясь, бабушка рассказала мне о разделе имущества между ею и дедом: он отдал ей все горшки, плошки, всю посуду и сказал:

— Это — твое, а больше ничего с меня не спрашивай!

Затем отобрал у нее все старинные платья, вещи, лисий салоп, продал все за семьсот рублей, а деньги отдал в рост под проценты своему крестнику-еврею, торговцу фруктами. Он окончательно заболел скупостью и потерял стыд: стал ходить по старым знакомым, бывшим сослуживцам своим в ремесленной управе, по богатым купцам и, жалуясь, что разорен детьми, выпрашивал у них денег на бедность. Он пользовался уважением, ему давали обильно крупными билетами; размахивая билетом под носом бабушки, дед хвастался и дразнил ее, как ребенок:

— Видала, дура? Тебе сотой доли этого не дадут!

Собранные деньги он отдавал в рост новому своему приятелю, длинному и лысому скорняку, прозванному в слободке Хлыстом, и его сестре-лавочнице, дородной, краснощекой бабе, с карими глазами, томной и сладкой, как патока.

Все в доме строго делилось: один день обед готовила бабушка из провизии, купленной на ее деньги, на другой день провизию и хлеб покупал дед, и всегда в его дни обеды были хуже: бабушка брала хорошее мясо, а он — требуху, печенку, легкие, сычуг[1]. Чай и сахар хранился у каждого отдельно, но заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил:

— Постой, погоди, — ты сколько положила?

Высыплет чаинки на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет:

— У тебя чай-от мельче моего, значит — я должен положить меньше, мой крупнее, наваристее.

Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему и себе одной крепости и чтоб она выпивала одинаковое с ним количество чашек.

[1] *Сычу́г* — здесь: желудок.

— По последней, что ли? — спрашивала она перед тем, как слить весь чай.

Дед заглядывал в чайник и говорил:

— Ну, уж — по последней!

Даже масло для лампадки пред образом каждый покупал свое, — это после полусотни лет совместного труда!

Мне было и смешно и противно видеть все эти дедовы фокусы, а бабушке — только смешно.

— А ты — полно! — успокаивала она меня. — Ну, что такое? Стар старичок, вот и дурит! Ему ведь восемь десятков, — отшагай-ка столько-то! Пускай дурит, кому горе? А я себе да тебе — заработаю кусок, не бойсь!

Я тоже начал зарабатывать деньги: по праздникам, рано утром, брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветошники покупали по двугривенному, железо — тоже, пуд костей — по гривеннику, по восемь копеек. Занимался я этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на тридцать, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у меня деньги, торопливо совала их в карман юбки и похваливала меня, опустив глаза:

— Вот и спасибо те, голуба душа! Мы с тобой не прокормимся, — мы? Велико дело!

Однажды я подсмотрел, как она, держа на ладони мои пятаки, глядела на них и молча плакала, одна мутная слеза висела у нее на носу, ноздреватом, как пемза[1].

В школе мне снова стало трудно, ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищебродом, а однажды, после ссоры, заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно было мне ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла: я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье.

Но вот, наконец, я сдал экзамен в третий класс, получил в награду Евангелие, басни Крылова в переплете и еще книжку без переплета, с непонятным титулом — «Фата-Моргана», дали мне также похвальный лист. Когда я принес эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что все это нужно беречь и что он запрет книги в укладку себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у нее не было денег, дед охал и взвизгивал:

— Опиваете вы меня, объедаете до костей, эх вы-и...

Я отнес книги в лавочку, продал их за пятьдесят пять копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда уж вручил деду. Он бережно спрятал бумагу, не развернув ее и не заметив моего озорства.

...Мать... переселилась к деду... Она совсем онемела, редко скажет слово кипящим голосом, а то целый день молча лежит в углу и умирает. Что она умирала — это я, конечно, чувствовал, знал, да и дед слишком часто, назойливо говорил о смерти, особенно по вечерам, когда на дворе темнело и в окна влезал теплый, как овчина, жирный запах гнили...

Умерла она в августе, в воскресенье, около полудня...

Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне:

— Ну, Лексей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди...

И пошел я в люди.

[1] *Пе́мза* — легкий пористый камень.

Вопросы и задания

1. Понравилась ли вам повесть? Почему автор назвал ее «Детство», хотя ранее предполагал назвать ее «Бабушка»? Как сложились отношения Алеши с окружающими людьми в доме деда? Как вы понимаете выражение «свинцовые мерзости дикой русской жизни»?
2. Опишите портреты бабушки и деда. Что нравилось Алеше в каждом из них?
3. Почему так часто ссорились в семье Кашириных?
4. Расскажите об одном из героев «Детства», использовав план характеристики. Какой след оставил каждый из окружавших Алешу людей в его душе?

Литература и живопись

Познакомьтесь самостоятельно с легендой о Данко из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» и иллюстрациями к ней. Подумайте: какова главная мысль произведения?

Данко[1]

(Отрывок из рассказа «Старуха Изергиль»)

«Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой — была степь. Были это веселые, сильные и смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для этого были две дороги: одна — назад, — там были сильные и злые враги, другая — вперед, — там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днем в сером сумраке и еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда, днем и ночью, вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А еще страшнее было, когда ветер бил по вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были все-таки сильные люди, и могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их, но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы, и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи, под глухой шум леса, в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота. <...> И ослабли люди от дум. <...> Страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада

[1] Легенда дана с небольшими сокращениями.

и над судьбой скованных страхом живых, — и трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом все громче и громче... Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни. <...> Но тут явился Данко и спас всех один. <...>

Данко — один из тех людей, молодой красавец. Красивые — всегда сме́лы. И вот он говорит им, своим товарищам:

— Не своротить камня с пути ду́мою. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец, — все на свете имеет конец! Идемте! Ну! Гей!..

Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня.

— Веди ты нас! — сказали они...

Повел их Данко. Дружно все пошли за ним — верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они. <...> Все гуще становился лес, все меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и ясен.

Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нем собрались все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и, качаясь, великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, холодным огнем и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещенные холодным огнем молний, казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих

что-то страшное, темное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомленные им, падали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневе обрушились на Данко, человека, который шел впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими, — вот как!

Остановились они и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.

— Ты, — сказали они, — ничтожный и вредный человек для нас! Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь!

— Вы сказали: „Веди!“ — и я повел! — крикнул Данко, становясь против них грудью. — Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!

Но эти слова разъярили их еще бóлее.

— Ты умрешь! Ты умрешь! — ревели они.

А лес все гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они — как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня... А они, увидав это, подумали, что он рассвирепел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он уже понял их думу, оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску.

А лес все пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь...

— Что сделаю я для людей?! — сильнее грома крикнул Данко.

И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой.

Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.

— Идем! — крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.

Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко все был впереди, сердце его все пылало, пылало!

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой; а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была — там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река... Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди Данко.

Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, — кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и — умер.

Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...

— Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой!» <...>

Вопросы и задание

1. Чем отличается, по вашему мнению, Данко от окружающих его людей? Подготовьте этот текст к выразительному чтению или художественному пересказу, подчеркнув особенность по-

ведения Данко и отношение к его поступку спасенных им людей.

2. Среди рассказов М. Горького есть реалистические и романтические произведения. К каким произведениям относятся повесть «Детство» и рассказ «Старуха Изергиль»?
3. Кому из горьковских героев вы хотели бы поставить памятник и каким вы его себе представляете?

Обогащайте свою речь

1. Подготовьте художественный пересказ одного из эпизодов — «Пожар», «Ученье», «Наказание», «Пляска бабушки», «Цыганок» (на выбор). Что можно сказать об авторе, который через многие годы так живо воспроизвел жизнь, быт, взаимоотношения обитателей дома Кашириных?
2. Прочитайте по ролям или инсценируйте одну из сцен: «Разговор с дедом», «Разговор с Цыганком», «Ученье» и т. д.
3. Подготовьте устное или письменное сочинение или сценарий: «История Цыганка», «Дедушка не злой и не страшен», «Почему почувствовал Алеша в бабушке близкого человека?», «Алеша и дом Кашириных» (на выбор).
4. Рассмотрите иллюстрации Б. Дехтерева к повести «Детство» и Д. Буторина к «Данко». Так ли вы представляли себе героев? Д. Буторин — художник-палешанин. Вы видели палехские рисунки, украшающие лаковые шкатулки, иллюстрирующие книжки для малышей, сказки Пушкина. Чем интересен здесь рисунок палехского художника?
5. Какие фольклорные произведения напоминают ритм, музыку легенды «Данко» (отрывка из рассказа «Старуха Изергиль»)? Прочитайте легенду вслух, сохранив ее особый сказовый ритм.



Леонид Николаевич АНДРЕЕВ

1871—1919

Леонид Николаевич Андреев родился в 1871 году в Орле, умер в эмиграции в Финляндии в 1919 году. Талант Андреева даже в самые ранние годы отмечали и Л. Н. Толстой, и А. П. Чехов, и В. Г. Короленко, и многие другие писатели.

Леонид Андреев выступает в защиту слабых и обездоленных, униженных и несчастных. Во многих произведениях отразились воспоминания детства и юности писателя («Весной», «Петька на даче», «Кусака», «Гостинец» и др.).

ЛЮДИ И КНИГИ

«Он любил огромное, — пишет К. И. Чуковский в своих воспоминаниях. — В огромном кабинете, на огромном письменном столе стояла у него огромная чернильница... Камин в его кабинете был величиной с ворота, а самый кабинет — точно площадь... Такое тяготение к огромному, великолепному, пышному сказывалось у него на каждом шагу...

Его дом был всегда многолюден: гости, родные, обширная дворня и дети — множество детей, и своих и чужих, — его темперамент требовал жизни широкой и щедрой.

Его красивое, смуглое, точеное, декоративное лицо, стройная, немного тучная фигура, сановитая, легкая поступь — все это гармонировало с той ролью величавого герцога, которую в последнее время он так превосходно играл...

Писанию Леонид Андреев отдавался с такою же чрезмерной стремительностью, как и всему остальному, — до полного истощения сил. Бывали месяцы, когда он ничего не писал, а потом вдруг с невероятной скоростью продиктует в несколько ночей громоздкую трагедию или повесть. Шагает по ковру, пьет черный чай и четко декламирует; пишущая машинка стучит как безумная, но всё еле поспевает за ним. Периоды, диктуемые им, были подчинены музыкальному ритму, который нес его на себе, как волна. Без этого ритма, почти стихотворного, он не писал даже писем.

Он не просто писал свои вещи, он был охвачен ими как пожаром. Он становился на время маньяком, не видел ничего, кроме них; как бы малы они ни были, он придавал им грандиозные размеры, насыщая их гигантскими образами, ибо и в творчестве, как в жизни, был чрезмерен; недаром любимые слова в его книгах „огромный", „необыкновенный", „чудовищный". Каждая тема становилась у него колоссальной, гораздо больше его самого, и застилала перед ним всю вселенную.

...Писал он почти всегда ночью, — не помню ни одной его вещи, которая была бы написана днем. Написав и напечатав свою вещь, он становился к ней странно равнодушен, словно пресытился ею, не думал о ней. Он умел отдаваться лишь той, которая еще не написана. Когда он писал какую-нибудь повесть или пьесу, он мог говорить только о ней: ему казалось, что она будет лучшее, величайшее, непревзойденное его произведение...

Нельзя было не удивляться тому, что он, индивидуалист, эгоцентрик, вечно сосредоточенный на собственном *я*, так деятельно отзывается сердцем на чужие печали... Особенно любил он помогать литераторам: даже домик у себя

на участке построил специально для нуждающихся авторов, чтобы дать им возможность отдыхать и без всякой помехи работать... С детской радостью доставал он... свою чековую — не слишком-то пухлую — книжку и быстро-быстро выписывал чек для любого просителя, еще раньше, чем тот успевал подробно изложить свою просьбу...»

Вопросы и задания

1. Чем интересен характер писателя? О каких особенностях творчества и личности Леонида Андреева сообщил нам Корней Иванович Чуковский?
2. Прочитайте рассказ Леонида Андреева «Кусака». Подумайте, какой теме он посвящен, на что обращает наше внимание автор, что осуждает, о чем горюет, кому симпатизирует.

Кусака

I

Она никому не принадлежала; у нее не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых изб ее отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к дому; когда, гонимая голодом или инстинктивною потребностью в общении, она показывалась на улице, — ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно, пронзительно свистали. Не помня себя от страху, переметываясь со стороны на сторону, натыкаясь на загорожи и людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада, в одном ей известном месте. Там она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу.

Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пропойца-мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей; пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд.

— Жучка! — позвал он ее именем, общим всем собакам. — Жучка! Поди сюда, не бойся!

Жучке очень хотелось подойти; она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил:

— Да пойди, дура! Ей-богу, не трону!

Но пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу и, когда Жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога.

— У-у, мразь! Тоже лезет!

Собака завизжала, больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрел домой, где долго и больно бил жену и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок.

С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели ее приласкать, и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобой набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила ее: выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывало некоторое довольство собой и даже гордость.

Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек: то отражалась на стекле упавшая звезда, или остророгий месяц посылал свой робкий луч.

II

Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грузным топотом людей, переносящих тяжести. Приехали из города дачники, целая веселая ватага взрослых, подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом; кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом.

Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. Жадно и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья вишен и быстро легла на траву, лицом к горячему солнцу. Потом так же внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала:

— Вот весело-то!

Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и так же беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины.

— Ай, злая собака! — убегая, крикнула девушка, и долго еще слышался ее взволнованный голос: — Мама, дети! Не ходите в сад: там собака! Огромная!.. Злю-у-щая!..

Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их: спала одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи: в траве шуршало что-то невидимое, маленькое и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки; хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега и скрипели нагруженные возы. И далеко окрест в неподвижном воздухе расстилался запах душистого, свежего дегтя и манил в светлеющую даль.

Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, делало их еще добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить ее из револьвера, если не уберется; но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали:

— А где же наша Кусака?

И это новое имя «Кусака» так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросавшей хлеб, — словно это был не хлеб, а камень, — и скоро все привыкли к Кусаке, называли ее «своей» собакой и шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха. С каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей; присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки: за полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Леля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей.

— Кусачка, пойди ко мне! — звала она к себе. — Ну, хорошая, ну, милая, пойди! Сахару хочешь?.. Сахару тебе дам, хочешь? Ну, пойди же!

Но Кусака не шла: боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Леля подвигалась к собаке и сама боялась: вдруг укусит.

— Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, Кусачка?

Брови Лели поднялись, и у самой у нее был такой хорошенький носик и такие выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцеловав горячо, до красноты щек, все ее молоденькое, наивно-прелестное личико.

И Кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная наверно, ударят ее или приласкают. Но ее приласкали. Маленькая, теплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове и, словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча.

— Мама, дети! Глядите: я ласкаю Кусаку! — закричала Леля.

Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания: она знала, что, если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами: у нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все наперерыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара.

III

Всею своей собачьей душою расцвела Кусака. У нее было имя, на которое она стремглав неслась из зеленой глубины сада; она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки?

С привычкою к умеренности, создавшеюся годами бродячей, голодной жизни, она ела очень мало, но и это малое изменило ее до неузнаваемости: длинная шерсть, прежде висевшая рыжими, сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшей грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем.

Но такою гордою и независимою она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпарился огнем ласк из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. Другие собаки умеют становиться на задние ланки, тереться у ног и даже улыбаться, и тем выражают свои чувства, но она не умела.

Единственное, что могла Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало, это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви, — и с внезапным наитием Кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким.

— Мама, дети! Смотрите, Кусака играет! — кричала Леля и, задыхаясь от смеха, просила: — Еще, Кусачка, еще! Вот так! Вот так...



И все собирались и хохотали, а Кусака вертелась, кувыркалась и падала, и никто не видел в ее глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть ее отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал:

— Кусачка, милая Кусачка, поиграй!

И Кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее хвалили при ней и за глаза и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показать своих штук и убегает в сад или прячется под террасой.

Постепенно Кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определенный час кухарка даст ей помоев и костей, уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела она: редко бегала с дачи, и когда маленькие

дети звали ее с собой в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай.

IV

Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одну за другой.

— Как же нам быть с Кусакой? — в раздумье спрашивала Леля.

Она сидела, охватив руками колени, и печально глядела в окно, по которому скатывались блестящие капли начавшегося дождя.

— Что у тебя за поза, Леля! Ну кто так сидит? — сказала мать и добавила: — А Кусаку придется оставить. Бог с ней!

— Жа-а-лко, — протянула Леля.

— Ну что поделаешь? Двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама понимаешь.

— Жа-а-лко, — повторила Леля, готовая заплакать.

Уже приподнялись, как крылья ласточки, ее темные брови и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала:

— Догаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый и уже служит. Ты слышишь меня? А это что — дворняжка!

— Жа-а-лко, — повторила Леля, но не заплакала.

Снова пришли незнакомые люди, и заскрипели возы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неотступно глядела на видимый ей уголок террасы и на сновавшие по нем фигуры в красных рубахах.

— Ты здесь, моя бедная Кусачка, — сказала вышедшая Леля. Она уже была одета по-дорожному — в то коричневое платье, кусок от которого оторвала Кусака, и черную кофточку. — Пойдем со мной!

И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал, и все пространство между почерневшею землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды и как скучно солнцу за этою плотною стеной.

Налево от шоссе тянулось потемневшее жнивье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты. Впереди, недалеко, была застава и возле нее трактир с железной красной крышей, а у трактира кучка людей дразнила деревенского дурачка Илюшу.

— Дайте копеечку, — гнусавил протяжно дурачок, и злые, насмешливые голоса наперебой отвечали ему:

— А дрова колоть хочешь?

И Илюша цинично и грязно ругался, а они без веселья хохотали.

Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным; шире и печальнее стала туманная осенняя даль.

— Скучно, Кусака! — тихо проронила Леля и, не оглядываясь, пошла назад.

И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с Кусакой.

V

Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и — промокшая, грязная — вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако, не видал: первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке.

Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу; бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветного неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой, свет долго еще боролся с тьмою и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он.

Наступила ночь.

И когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завыла. Звенящей, острой, как отчаяние, нотой ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным полем.

Собака выла — ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу.

Собака выла.

Вопросы и задания

1. Какие чувства и переживания вызвал у вас рассказ «Кусака»? Как вы понимаете выражения: «Всей своей собачьей душой расцвела Кусака», «Желтыми огнями загорелась осень...»? Можно ли понять авторское отношение к событиям? Составьте выборочный пересказ на тему «История Кусаки».
2. Почему собака не доверяла людям? Как люди относились к ней? Кому было жалко собаку?
3. Как вела себя Кусака, когда люди покинули дом? Как описание погоды помогает понять собачью тоску?
4. Что хотел напомнить людям автор?
5. Подготовьте ответы в форме диалога на тему «Разговор с другом о прочитанном рассказе Л. Андреева „Кусака“» или отзыв на этот рассказ. Какую роль в рассказе играет эпизод с Илюшей?
6. Если бы вам предложили подготовить иллюстрацию к рассказу, что бы вы на ней изобразили? Опишите устно.



Владимир Владимирович МАЯКОВСКИЙ

1893—1930

Маяковский прошел короткий по времени, но огромный по насыщенности исторических событий путь.

В. Катанян

Владимир Владимирович Маяковский родился в 1893 году в селе Багдады, близ Кутаиса, в семье лесничего. «...Отец легко находил тему для разговора с каждым. Хорошо владея речью, он пересыпал ее пословицами, прибаутками, остротами. Знал бесчисленное множество случаев и анекдотов и передавал их на русском, грузинском, армянском, татарском языках, которые знал в совершенстве... Мама худая, хрупкая, болезненная... Своим характером и внутренним тактом мама нейтрализовала вспыльчивость, горячность отца, его смены настроений и тем создавала самые благоприятные условия для общей семейной жизни и для воспитания детей... Лицом Володя похож на мать, а сложением, манерами — на отца... С утра до вечера мы жили в трудовой, полной забот обстановке», — пишет сестра поэта.

Я сам расскажу
о времени
и о себе.

В. Маяковский

«...Первый дом, вспоминаемый отчетливо... Лет семь. Отец стал брать меня на верховые объезды лесничества...»

«Осенью начал посещать гимназию». «Приготовительный, 1-й, 2-й. Иду первым. Весь в пятерках. Читаю Жюля Верна. Вообще фантастическое. Какой-то бородач стал во мне обнаруживать способности художника. Учит даром». «У нас была пятидневная забастовка, а после была гимназия закрыта четыре дня... В Кутаисе 15-го ожидаются беспорядки...» «Умер отец. Уколол палец (сшивал бумаги). Заражение крови... Благополучие кончилось. После похорон отца у нас в кармане 3 рубля...»

В июле 1906 года семья Маяковского — мать, сестры Людмила и Ольга — переехала в Москву... 29 марта 1908 года и 18 января 1909 года — первый и второй аресты Маяковского. 9 января 1910 года освобожден из-под ареста под гласный надзор полиции...

При выходе из тюрьмы у Маяковского отобрали тетрадь со стихами... «Появление Володи дома было неожиданно. Бурной радости не было конца. Володя пришел к вечеру. Помню, он мыл руки и с намыленными руками все время обнимал нас и целовал, приговаривая: „Как я рад, бесконечно рад, что я дома, с вами“» (из воспоминаний сестры). Далее учение в художественной студии С. Жуковского, затем студия художника П. Келина, поступление в училище живописи, знакомство с художником и поэтом Давидом Бурлюком.

«...Бурлюк, знакомя меня с кем-то, басил: „Не знаете? Мой гениальный друг. Знаменитый поэт Маяковский“. Толкаю. Но Бурлюк непреклонен. Еще и рычал на меня, отойдя: „Теперь пишите. А то вы меня ставите в глупейшее положение“. Пришлось писать. Я и написал первое (первое профессиональное, печатаемое «Багровый и белый») и другие.

Всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. Всовывал книги. Ходил и говорил без конца. Не отпускал ни на шаг. Выдавал ежедневно 50 копеек. Чтобы писать не голодая» (автобиография).

А далее — стихотворения, поездки по стране, диспуты, лекции, чтение стихотворений. Работа над плакатами в окнах РОСТА, поэмы, поездки за границу... В Финлян-

дии А. М. Горькому читал части поэмы «Облако в штанах». Вероятно, тогда же Горький подарил ему экземпляр «Детства» с надписью: «Без слов, от души. Владимиру Владимировичу Маяковскому. М. Горький».

В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В. В. МАЯКОВСКОГО

(Из воспоминаний)

Маяковский вкладывал большой смысл в слово «добросовестнейший», говоря о хороших и добросовестных стихах.

«Помимо необходимых способностей, — говорил поэт, — надо работать до предела, до кульминации, надо работать над стихотворением до тех пор, пока не почувствуешь, что больше ничего не сможешь сделать». Очевидцы утверждали, что Маяковский работал над некоторыми стихотворениями неделями, месяцами. В других случаях творческий процесс сводился к одному дню, а то и к считанным часам.

Одним из самых частых вопросов к поэту на его вечерах был вопрос: «Что получилось бы, если бы вы писали обыкновенными строчками?»

«Тогда вам труднее было бы их читать, — отвечал поэт. — Дело не просто в строчках, а в природе стиха. Ведь читателю надо переключаться с одного размера на другой. У меня же нет на большом протяжении единого размера. А при разбитых строчках — легче переключаться. Да и строка, благодаря такой расстановке, становится значительнее, весомее. Учтите приемы — смысловые пропуски, разговорную речь, укороченные и даже однословные строки. И вот от такой расстановки строка оживает, подтягивается, пружинит... Слова сами по себе становятся полнокровными — и увеличивается ответственность за них.

Но главное в их природе. Заодно добавлю, есть такой критерий: из хорошей строчки слова не выбросишь. А если слово можно заменить, значит, она еще рыхлая. Слово должно держаться в стихе, как хорошо вбитый гвоздь. Попробуй вытащи! И наконец, стихи рассчитаны в основном на чтение с голоса, на массовую аудиторию...»

Маяковский рассказывал о своей работе: «Я хожу, размахивая руками и мыча еще почти без слов, то укорачивая шаг, чтобы не мешать мычанию, то помычиваю быстрее, в такт шагам. Так обстругивается и оформляется ритм — основа всякой поэтической вещи, проходящая через нее гулом. Постепенно из этого гула начинаешь вытаскивать отдельные слова».

И здесь переход ко второй стадии работы, когда начинается уже отбор и обработка словесного материала: «Некоторые слова просто отскакивают и не возвращаются никогда, другие задерживаются, переворачиваются и выворачиваются по нескольку десятков раз, пока не почувствуешь, что слово стало на место...»

О третьей стадии рассказывается так: «Когда уже основное готово, вдруг выступает ощущение, что ритм рвется — не хватает какого-то сложка, звучика. Начинаешь снова перекраивать все слова, и работа доводит до исступления. Как будто сто раз примеряется на зуб несадящаяся коронка, и наконец, после сотни примерок ее нажали, и она села».

Своеобразно говорит Маяковский о работе поэта:

Поэзия —
вся! —
езда в незнаемое.
Поэзия —
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды.
Но как
испепеляюще
слов этих жжение
рядом
с тлением
слова-сырца.

Эти слова
приводят в движение
тысячи лет
миллионов сердца.

Как вы понимаете это поэтическое высказывание?

* * *

Особую роль в творчестве поэта играли его выступления. П. И. Лавут, помогавший Маяковскому в организации лекций, вспоминает:

«Стихотворение „Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче“ на афише называлось просто „Необычайное“. Но с эстрады поэт объявлял его полным, даже расширенным названием („бывшее со мной, с Владимиром Владимировичем, на станции Пушкино...“). Очень громко и четко произносил „необы...“, а вторую половину слова и все последующие — быстрее, доводя до скороговорки. Еще добавлял:

— Эту вещь я считаю программной. Здесь речь идет о плакатах. Когда-то я занимался этим делом. Нелегко давалось. Рисовали иногда дни и ночи. Часто недосыпали. Чтобы не проспать, клали под голову полено вместо подушки. В таких условиях мы делали „Окна РОСТА“, которые заменяли тогда частично газеты и журналы. Писали на злобу дня, с тем чтобы сегодня или на следующий день наша работа приносила конкретную пользу. Эти плакаты выставлялись в витринах центральных магазинов Москвы, на Кузнецком и в других местах. Часть их размножалась и отправлялась в другие города.

Концовка „Необычайного“ звучала так: предельно громко — „Вот лозунг мой...“ и пренебрежительно, иронически, коротко — „и солнца“...

Поэт читает записку:

„Как вы относитесь к чтению Артоболевского?“

— Никак не отношусь. Я его не знаю.

Из оркестра раздается смущенный голос:

— А я здесь...

Маяковский нагибается:

— Почитайте, тогда я вас узнаю. Поскольку речь идет

о „Солнце“, прочтите его... Затем, если вы не обидитесь, я сделаю свои замечания и прочту „Солнце“ по-своему.

Артоболевский выходит на сцену. Заметно волнуясь, читает „Солнце“. Раздаются аплодисменты.

Маяковский хвалит его голос, отмечает и другие положительные качества исполнения. Но он говорит, что чтецу не хватает ритмической остроты, и критикует излишнюю „игру“, некоторую напыщенность. Он находит, что напевность в отдельных местах, например в строках „Стена теней, ночей тюрьма“, неоправданна, и, наконец, подчеркивает, что нельзя сокращать название стихотворения.

— Так, к сожалению, делает большинство чтецов, — замечает он, — а между тем название неразрывно связано с текстом. Все, что мной говорилось, — заключает он, — относится ко всем чтецам, которых я слышал, за исключением одного Яхонтова.

Затем Маяковский сам читает „Солнце“. Артоболевский поблагодарил его и отметил интересную деталь: ему казалось, что слова „...крикнул солнцу: „Слазь!““ нужно действительно крикнуть, а Маяковский произнес слово „слазь“ без всякого крика, но тоном чуть пренебрежительным.

— Подымите руки, кто за меня? — обратился к залу поэт. — Почти единогласно...“

Намечая выставку и предлагая Лавуту помочь ему, Маяковский набрасывает, что необходимо дать на ней: «Детские книги, газеты Москвы, газеты СССР о Маяковском, заграница о Маяковском, „Окна сатиры РОСТА“ — текст-рисунки Маяковского. Маяковский на эстраде. Театр Маяковского. Маяковский в журнале. <...> Цель выставки — показать многообразие работы поэта...

30 декабря он устроил нечто вроде „летучей выставки“ у себя дома — для друзей и знакомых, которые задумали превратить все это в шуточный юбилей, близкий духу юбиляра. Маяковского просили явиться попозже. На квартиру в Гендриков переулок (теперь — переулок Маяковского) принесли афиши, плакаты, книги, альбомы... В конце этого вечера Маяковского упросили прочитать стихи.

Сперва он исполнил „Хорошее отношение к лошадям“. Оно прозвучало более мрачно, чем обычно, но своеобразно и глубоко...»

2/3 прочитать

Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче

(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.)

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла, —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце а́ло.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шляться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»

Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь[1] задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
ввалилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чаи́ гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему, —

[1] *Ретиру́юсь* — отступаю.

сконфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь — не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, —
и степенность[1]
забыв,
сижу, разговорясь
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
— Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось идти,
идешь — и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоясь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.

[1] *Степе́нность* — рассудительность, серьезность.

Я буду солнце лить свое,
а ты — свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

Вопросы и задания

1. Понравилось ли вам стихотворение? Что общего между поэтом и солнцем? Во имя чего поэт готов к ежедневной, будничной, трудной работе?
2. Внимательно вчитайтесь в стихотворение «Необычайное приключение...». Как меняется настроение поэта на протяжении рассказа и как это можно передать при чтении? Перечитайте начало и конец стихотворения «Необычайное приключение...». Одинаков ли ритм в этих отрывках? Подготовьтесь к выразительному чтению, используя советы самого поэта.

Развивайте дар слова

1. Как вы понимаете слова и словосочетания, строки: «тупая сонница», «до дней последних донца», «златолобо»? Найдите неологизмы — новые слова, созданные поэтом, и объясните их значения.

2. Найдите в стихотворении авторскую переделку фразеологизмов («смотреть в оба», «сколько лет, сколько зим», «никаких гвоздей») и объясните, какую роль они играют в тексте. Какие значения слова «светить» появляются в тексте Маяковского?

С помощью каких средств изображения автор раскрывает простоту и величие будничного труда поэта и солнца? В чем главная мысль стихотворения? Сумел ли поэт убедить вас в своей правоте?

Хорошее отношение к лошадям

Били копыта.
Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб. —
Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким
клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
— Лошадь упала! —
— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные...
Улица опрокинулась,
течет по-своему...
Подошел и вижу —
за каплищей каплища

по морде катится,
прячется в ше́рсти...
И какая-то общая
звериная тоска, плеща,
вылилась из меня
и расплылась в шелесте.

«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
Чего вы думаете, что вы их плоше?

Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».

Может быть —
старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя
казалась пошла́,
только
лошадь
рванулась,
встала на́ ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала,
рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

Вопросы и задания

1. Как вы понимаете главную мысль стихотворения? Близка ли она сегодняшним заботам человека? Что скрывается в заключительных строчках стихотворения?
2. Что вы узнали о В. В. Маяковском? Интересна ли вам личность этого поэта? Расскажите о нем.

3. Расскажите об особенностях творческой лаборатории поэта, о его чтении «Необычайного приключения...».

Обогащайте свою речь

1. Известно, что В. В. Маяковский ввел в стихотворения много новых слов (неологизмов). Назовите некоторые из них.
2. Объясните слова и словосочетания: «в сто сорок солнц закат пылал, в июль катилось лето», «пригорок горбил», «кривился крыш корою», «солнце ало», «занежен», «из солнца ясь», «трезвонится».

Литература и другие виды искусства

Рассмотрите иллюстрации. Так ли вы себе представляли встречу героя с солнцем? Какая из иллюстраций кажется вам наиболее удачной?



Рисунок Д. Бурлюка



Рисунок В. Маяковского



Андрей Платонович ПЛАТОНОВ

1899—1951

Только человек, для которого Россия была его вторым существом, как изученный до последнего гвоздя отчий дом, мог написать о ней с такой горечью и сердечностью.

К. Паустовский

«Жизнь сразу превратила меня из ребенка во взрослого человека, лишая юности», — признался однажды Андрей Платонов...

...В сентябре 1918 года, когда Андрею Платонову было девятнадцать лет, — а он уже проработал подручным мастера в литейке и рабочим на заводе в годы Первой мировой войны — в Воронеже появился журнал с громким, демонстративно пролетарским названием — «Железный путь». Это был неожиданный, непохожий на старое вестник новой эпохи, культурной революции... У этого времени были свои жесты, лексика, плакаты... В «Железном пути» в 1918 году молодой Платонов опубликовал не столь уж много произведений: рассказ «Очередной», несколько стихотворений... И все же именно здесь начало жгуче-романтической мысли писателя, источник мечты о выходе в счастье человека, мечты о невозможном, которые останутся в Платонове навсегда.

Образ писателя тех лет возникал и в очерках журналистов Воронежа. На необоснованные мечты сделать речку Воронеж большой судоходной рекой мы слышим голос Андрея Платонова:

«— Зачем нам большую реку? И эту-то не используем мы никак...

А ежели — она ни к чему не годна больше?

Как так не годна? У нас вверх по реке весь урожай фруктов и овощей пропадает за неимением перевозных средств. Дайте мне немного денег. Я построю большие плоскодонки, не боящиеся летнего мелководья. Поставлю на них дешевые нефтяные двигатели. Целый флот будет. И за гроши перевожу в город весь избыток урожая.

Под глазами у него чуть-чуть посверкивает радость:

— Десятки сел благодарили бы.

Помолчав секунду, добавил:

— И за один год окупятся все расходы. Немного бы денег, ребята!»

Конечно, денег — самой твердой точки опоры всех Архимедов[1]! — молодому мечтателю никто не дал... Воронеж тех лет получил в лице Платонова — журналиста, социолога[2], оратора, поэта, поборника электрификации — звезду необычайной яркости...

И не приходится удивляться тому, что почти одновременно с появлением первой книги прозы Платонова «Епифанские шлюзы» (1927), высоко оцененной М. Горьким, писатель создал и сборники «Сокровенный человек», «Происхождение мастера», «Город Градов», роман «Чевенгур» и др.

Любимые герои в прозе Андрея Платонова... чаще всего мастеровые, деревенские правдоискатели, машинисты, «сиро́ты» по своему душевному состоянию — пребывают в своеобразном странствии, скитальчестве. Таков и его рассказ «Юшка».

В 20—30-е годы на долю Платонова выпадает брань из-за рассказа «Усомнившийся Макар», который назван критикой «двусмысленным». Писатель остро почувствовал рост бюрократии, прозаседавшихся, жажду «заорганизовать» всё и вся...

Андрей Платонов прожил недолгую жизнь. Он умер в 1951 году в атмосфере непризнания, житейских невзгод, мучимый туберкулезом, наследием фронтовых дорог и сверхнапряжений.

Друзья, посещавшие его в последние годы, заставали писателя на неизменном черном диване, служившем ему постелью, — не вставая, сидя на ней, он и беседовал с ними. По свидетельству М. А. Платоновой, жены писателя, именно в 1950 году больной Платонов написал «Неизвестный цветок» (сказка-быль). О ком эта притча, сотканная из мелодий надежды, тоски, веры в справедливость детей?.. «Цветок всю ночь сторожил росу и собирал ее по каплям на свои листья... Но он нуждался в жизни и превозмогал терпеньем свою боль от голода и усталости...» Грустное упрямство, печальная воля к жизни живет в цветке — и в авторе! — застенчиво явление их в мир с «извинением» за свою непохожесть на других...

По В. Чалмаеву

Вопросы

1. В чем смысл высказывания писателя о реке Воронеж?
2. Чем интересен портрет писателя, его личность?

Юшка

Давно, в старинное время, жил у нас на улице старый на вид человек. Он работал в кузнице при большой московской дороге; он работал подручным помощником у главного кузнеца, потому что он плохо видел глазами и в руках у него мало было силы. Он носил в кузницу воду, песок и уголь, раздувал мехом горн, держал клещами горячее железо на наковальне, когда главный кузнец отковывал его, вводил лошадь в станок, чтобы ковать ее, и делал всякую другую работу, которую нужно было делать. Звали его Ефимом, но все люди называли его Юшкой. Он был мал ростом и худ; на сморщенном лице его, вместо усов и бороды, росли по отдельности редкие седые волосы; глаза же у него были белые, как у слепца, и в них всегда стояла влага, как неостывающие слезы.

Юшка жил на квартире у хозяина кузницы, на кухне. Утром он шел в кузницу, а вечером шел обратно на ночлег.

[1] *Архиме́д* — здесь имеется в виду изобретатель, по имени греческого ученого Архимеда.

[2] *Социо́лог* — ученый, исследующий вопросы социологии, учения об обществе. Социология возникла в глубокой древности (ученые древности — Демокрит, Платон, Аристотель и др.).

Хозяин кормил его за работу хлебом, щами и кашей, а чай, сахар и одежда у Юшки были свои; он их должен покупать на свое жалованье — семь рублей и шестьдесят копеек в месяц. Но Юшка чаю не пил и сахару не покупал, он пил воду, а одежду носил долгие годы одну и ту же без смены: летом он ходил в штанах и в блузе, черных и закопченных от работы, прожженных искрами насквозь, так что в нескольких местах видно было его белое тело, и босой; зимою же он надевал поверх блузы еще полушубок, доставшийся ему от умершего отца, а ноги обувал в валенки, которые он подшивал с осени и носил всякую зиму всю жизнь одну и ту же пару.

Когда Юшка рано утром шел по улице в кузницу, то старики и старухи подымались и говорили, что вон Юшка уж работать пошел, пора вставать, и будили молодых. А вечером, когда Юшка проходил на ночлег, то люди говорили, что пора ужинать и спать ложиться — вон и Юшка уж спать пошел.

А малые дети и даже те, которые стали подростками, увидя тихо бредущего старого Юшку, переставали играть на улице, бежали за Юшкой и кричали:

— Вон Юшка идет! Вон Юшка!

Дети поднимали с земли сухие ветки, камешки, сор горстями и бросали в Юшку.

— Юшка! — кричали дети. — Ты правда Юшка?

Старик ничего не отвечал детям и не обижался на них; он шел так же тихо, как прежде, и не закрывал своего лица, в которое попадали камешки и земляной сор.

Дети удивлялись Юшке, что он живой, а сам не серчает на них. И они снова окликали старика:

— Юшка, ты правда или нет?

Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его и толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмет хворостину и не погонится за ними, как делают все большие люди. Дети не знали другого такого человека, и они думали — вправду ли Юшка живой? Потрогав Юшку руками или ударив его, они видели, что он твердый и живой.

Тогда дети опять толкали Юшку и кидали в него комья земли, — пусть он лучше злится, раз он вправду живет на

свете. Но Юшка шел и молчал. Тогда сами дети начинали серчать на Юшку. Им было скучно и нехорошо играть, если Юшка всегда молчит, не пугает их и не гонится за ними. И они еще сильнее толкали старика и кричали вкруг него, чтоб он отозвался им злом и развеселил их. Тогда бы они отбежали от него, и в испуге, в радости снова бы дразнили его издали и звали к себе, убегая затем прятаться в сумрак вечера, в сени домов, в заросли садов и огородов. Но Юшка не трогал их и не отвечал им.

Когда же дети вовсе останавливали Юшку или делали ему слишком больно, он говорил им:

— Чего вы, родные мои, чего вы, маленькие!.. Вы, должно быть, любите меня!.. Отчего я вам всем нужен?.. Обождите, не надо меня трогать, вы мне в глаза землей попали, я не вижу.

Дети не слышали и не понимали его. Они по-прежнему толкали Юшку и смеялись над ним. Они радовались тому, что с ним можно все делать, что хочешь, а он им ничего не делает.

Юшка тоже радовался. Он знал, отчего дети смеются над ним и мучают его. Он верил, что дети любят его, что он нужен им, только они не умеют любить человека и не знают, что делать для любви, и поэтому терзают его.

Дома отцы и матери упрекали детей, когда они плохо учились или не слушались родителей: «Вот ты будешь такой же, как Юшка! Вырастешь и будешь ходить летом босой, а зимой в худых валенках, и все тебя будут мучить, и чаю с сахаром не будешь пить, а одну воду!»

Взрослые пожилые люди, встретив Юшку на улице, тоже иногда обижали его. У взрослых людей бывало злое горе или обида; или они были пьяными, тогда сердце их наполнялось лютой яростью. Увидев Юшку, шедшего в кузницу или ко двору на ночлег, взрослый человек говорил ему:

— Да что ты такой блажной, непохожий ходишь тут? Чего ты думаешь такое особенное?

Юшка останавливался, слушал и молчал в ответ.

— Слов у тебя, что ли, нету, животное такое! Ты живи просто и честно, как я живу, а тайно ничего не думай! Го-

вори, будешь так жить, как надо? Не будешь? Ага!.. Ну ладно!

И после разговора, во время которого Юшка молчал, взрослый человек убеждался, что Юшка во всем виноват, и тут же бил его. От кротости Юшки взрослый человек приходил в ожесточение и бил его больше, чем хотел сначала, и в этом зле забывал на время свое горе.

Юшка потом долго лежал в пыли на дороге. Очнувшись, он вставал сам, а иногда за ним приходила дочь хозяина кузницы, она подымала его и уводила с собой.

— Лучше бы ты умер, Юшка, — говорила хозяйская дочь. — Зачем ты живешь?

Юшка глядел на нее с удивлением. Он не понимал, зачем ему умирать, когда он родился жить.

— Это отец-мать меня родили, их воля была, — отвечал Юшка. — Мне нельзя помирать, и я отцу твоему в кузне помогаю.

— Другой бы на твое место нашелся, помощник какой!

— Меня, Даша, народ любит!

Даша смеялась:

— У тебя сейчас кровь на щеке, а на прошлой неделе тебе ухо разорвали, а ты говоришь — народ тебя любит!..

— Он меня без понятия любит, — говорил Юшка. — Сердце в людях бывает слепое.

— Сердце-то в них слепое, да глаза у них зрячие! — произносила Даша. — Иди скорее, что ль! Любят-то они по сердцу, да бьют тебя по расчету.

— По расчету они на меня серчают, это правда, — соглашался Юшка. — Они мне улицей ходить не велят и тело калечат.

— Эх ты, Юшка, Юшка! — вздыхала Даша. — А ты ведь, отец говорил, нестарый еще!

— Какой я старый! Я грудью с детства страдаю, это я от болезни на вид оплошал и старым стал...

По этой своей болезни Юшка каждое лето уходил от хозяина на месяц. Он уходил пешим в глухую дальнюю деревню, где у него жили, должно быть, родственники. Никто не знал, кем они ему приходились.

Даже сам Юшка забывал, и в одно лето он говорил, что в деревне у него живет вдовая сестра, а в другое, что там

племянница. Иной раз он говорил, что едет в деревню, а в иной, что в самую Москву. А люди думали, что в дальней деревне живет Юшкина любимая дочь, такая же незлобная и лишняя людям, как отец.

В июле или августе месяце Юшка надевал на плечи котомку с хлебом и уходил из нашего города. В пути он дышал благоуханием трав и лесов, смотрел в белые облака, рождающиеся в небе, плывущие и умирающие в светлой воздушной теплоте, слушал голос рек, бормочущих на каменных перекатах, и больная грудь Юшки отдыхала, он более не чувствовал своего недуга — чахотки. Уйдя далеко, где было вовсе безлюдно, Юшка не скрывал более своей любви к живым существам. Он склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на них, чтобы они не испортились от его дыхания, он гладил кору на деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим. Но живые птицы пели в небе, стрекозы, жуки и работящие кузнечики издавали в траве веселые звуки, и поэтому на душе у Юшки было легко, в грудь его входил сладкий воздух цветов, пахнущий влагой и солнечным светом.

По дороге Юшка отдыхал. Он садился в тень подорожного дерева и дремал в покое и тепле. Отдохнув и отдышавшись в поле, он не помнил более о болезни и шел весело дальше, как здоровый человек. Юшке было сорок лет от роду, но болезнь давно уже мучила его и состарила прежде времени, так что он всем казался ветхим.

И так каждый год уходил Юшка через поля, леса и реки в дальнюю деревню или в Москву, где его ожидал кто-то или никто не ждал, — об этом никому в городе не было известно.

Через месяц Юшка обыкновенно возвращался обратно в город и опять работал с утра до вечера в кузнице. Он снова начинал жить по-прежнему, и опять дети и взрослые, жители улицы, потешались над Юшкой, упрекали его за безответную глупость и терзали его.

Юшка смирно жил до лета будущего года, а среди лета надевал котомку за плечи, складывал в отдельный мешочек деньги, что заработал и накопил за год, всего рублей

сто, вешал тот мешочек себе за пазуху на грудь и уходил неизвестно куда и неизвестно к кому.

Но год от году Юшка все более слабел, потому шло и проходило время его жизни и грудная болезнь мучила его тело и истощала его. В одно лето, когда Юшке уже подходил срок отправляться в свою дальнюю деревню, он никуда не пошел. Он брел, как обычно вечером, уже затемно из кузницы к хозяину на ночлег. Веселый прохожий, знавший Юшку, посмеялся над ним:

— Чего ты землю нашу топчешь, божье чучело! Хоть бы ты помер, что ли, может, веселее бы стало без тебя, а то я боюсь соскучиться...

И здесь Юшка осерчал в ответ — должно быть, первый раз в жизни.

— А чего я тебе, чем я вам мешаю!.. Я жить родителями поставлен, я по закону родился, я тоже всему свету нужен, как и ты, без меня тоже, значит, нельзя.

Прохожий, не дослушав Юшку, рассердился на него:

— Да ты что? Ты чего заговорил? Как ты смеешь меня, самого меня с собой равнять, юрод негодный!

— Я не равняю, — сказал Юшка, — а по надобности мы все равны...

— Ты мне не мудруй! — закричал прохожий. — Я сам помудрей тебя! Ишь, разговорился, я тебя выучу уму!

Замахнувшись, прохожий с силой злобы толкнул Юшку в грудь, и тот упал навзничь.

— Отдохни, — сказал прохожий и ушел домой пить чай.

Полежав, Юшка повернулся вниз лицом и более не пошевелился и не поднялся.

Вскоре проходил мимо один человек, столяр из мебельной мастерской. Он окликнул Юшку, потом переложил его на спину и увидел во тьме белые открытые неподвижные глаза Юшки. Рот его был черен; столяр вытер уста Юшки ладонью и понял, что это была спекшаяся кровь. Он опробовал еще место, где лежала голова Юшки лицом вниз, и почувствовал, что земля там была сырая, ее залила кровь, хлынувшая горлом из Юшки.

— Помер, — вздохнул столяр. — Прощай, Юшка, и нас всех прости. Забраковали тебя люди, а кто тебе судья!..



Хозяин кузницы приготовил Юшку к погребению. Дочь хозяина Даша омыла тело Юшки, и его положили на стол в доме кузнеца. К телу умершего пришли проститься с ним все люди, старые и малые, весь народ, который знал Юшку, и потешался над ним, и мучил его при жизни.

Потом Юшку похоронили и забыли его. Однако без Юшки жить людям стало хуже. Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и тратились меж ними, потому что не было Юшки, безответно терпевшего всякое чужое зло, ожесточение, насмешку и недоброжелательство.

Снова вспомнили про Юшку лишь глубокой осенью. В один темный непогожий день в кузницу пришла юная

девушка и спросила у хозяина-кузнеца, где ей найти Ефима Дмитриевича.

— Какого Ефима Дмитриевича? — удивился кузнец. — У нас такого сроду тут не было.

Девушка, выслушав, не ушла, однако, и молча ожидала чего-то. Кузнец поглядел на нее: что за гостью ему принесла непогода? Девушка на вид была тщедушна и невелика ростом, но мягкое, чистое лицо ее было столь нежно и кротко, а большие серые глаза глядели так грустно, словно они готовы были вот-вот наполниться слезами, что кузнец подобрел сердцем, глядя на гостью, и вдруг догадался:

— Уж не Юшка ли он? Так и есть — по паспорту он писался Дмитриевичем...

— Юшка, — прошептала девушка. — Это правда. Сам себя он называл Юшкой.

Кузнец помолчал.

— А вы кто ему будете? Родственница, что ль?

— Я никто. Я сиротой была, а Ефим Дмитриевич поместил меня, маленькую, в семейство в Москве, потом отдал в школу с пансионом... Каждый год он приходил проведывать меня и приносил деньги на весь год, чтоб я жила и училась. Теперь я выросла, я уже окончила университет, а Ефим Дмитриевич в нынешнее лето не пришел меня проведать. Скажите мне, где же он, — он говорил, что работал у вас двадцать пять лет.

— Половина века прошло, состарились вместе, — сказал кузнец.

Он закрыл кузницу и повел гостью на кладбище. Там девушка припала к земле, в которой лежал мертвый Юшка, человек, кормивший ее с детства, никогда не евший сахара, чтоб она ела его.

Она знала, чем болел Юшка, и теперь сама окончила ученье на врача и приехала сюда, чтобы лечить того, кто ее любил больше всего на свете и кого она сама любила всем теплом и светом своего сердца...

С тех пор прошло много времени. Девушка-врач осталась навсегда в нашем городе. Она стала работать в больнице для чахоточных, она ходила по домам, где были туберкулезные больные, и ни с кого не брала платы за

свой труд. Теперь она сама уже тоже состарилась, однако по-прежнему весь день она лечит и утешает больных людей, не утомляясь утолять страдание и отдалять смерть от ослабевших. И все ее знают в городе, называя дочерью доброго Юшки, позабыв давно самого Юшку и то, что она не приходилась ему дочерью.

Вопросы и задания

1. Почему так называли главного героя? Прав ли был Юшка, говоря, что его любит народ? нет
   Как вы понимаете слова Юшки: «Вы, должно быть, любите меня!», «Он (народ. — *Авт.*) меня без понятия любит. Сердце в людях бывает слепое» — и слова автора: «Он верил, что дети любят его, что он нужен им, только они не умеют любить человека и не знают, что делать для любви, и поэтому терзают его»? Согласны ли вы с автором? На чьей стороне автор и почему вы так решили? Почему люди «терзали» Юшку?
   Какими предстают герои рассказа Платонова в каждом из эпизодов? сначала злые потом добрые
2. Какие чувства вызывают у вас рассказ Платонова и его герои? Подготовьте рассказ о Юшке, передайте близко к тексту разговоры Юшки с детьми и взрослыми. Как вы понимаете слово «сострадание»? Бывали ли у вас случаи, ситуации, которые вызывали сострадание к людям? да
3. Как можно объяснить язык Юшки? Чем отличается он от языка всех окружающих его людей? он очень добрый
4. Прочитайте еще одно произведение Платонова — «В прекрасном и яростном мире».

В прекрасном и яростном мире

1

В Толубеевском депо лучшим паровозным машинистом считался Александр Васильевич Мальцев.

Ему было лет тридцать, но он уже имел квалификацию машиниста первого класса и давно водил скорые поезда. Когда в наше депо прибыл первый мощный пассажирский паровоз серии «ИС», то на эту машину назначили работать

Мальцева, что было вполне разумно и правильно. Помощником у Мальцева работал пожилой человек из деповских слесарей по имени Федор Петрович Драбанов, но он вскоре выдержал экзамен на машиниста и ушел работать на другую машину, а я был вместо Драбанова определен работать в бригаду Мальцева помощником; до того я тоже работал помощником механика, но только на старой, маломощной машине.

Я был доволен своим назначением. Машина «ИС», единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления; я мог подолгу глядеть на нее, и особая растроганная радость пробуждалась во мне — столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина. Кроме того, я желал поработать в бригаде первоклассного механика, чтобы научиться у него искусству вождения тяжелых скоростных поездов.

Александр Васильевич принял мое назначение в его бригаду спокойно и равнодушно; ему было, видимо, все равно, кто у него будет состоять в помощниках.

Перед поездкой я, как обычно, проверил все узлы машины, испытал все ее обслуживающие и вспомогательные механизмы и успокоился, считая машину готовой к поездке. Александр Васильевич видел мою работу, он следил за ней, но после меня собственными руками снова проверил состояние машины, точно он не доверял мне.

Так повторялось и впоследствии, и я уже привык к тому, что Александр Васильевич постоянно вмешивался в мои обязанности, хотя и огорчался молчаливо. Но обыкновенно, как только мы были в ходу, я забывал про свое огорчение. Отвлекаясь вниманием от приборов, следящих за состоянием бегущего паровоза, от наблюдения за работой левой машины и пути впереди, я посматривал на Мальцева. Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание и поэтому властвующего над ним. Глаза Александра Васильевича глядели вперед отвлеченно, как пустые, но я знал, что он видел ими всю дорогу впереди и всю природу, несущуюся нам навстречу, — даже воробей, сметенный

с балластного откоса ветром вонзающейся в пространство машины, даже этот воробей привлекал взор Мальцева, и он поворачивал на мгновение голову вслед за воробьем: что с ним станется после нас, куда он полетел?

По нашей вине мы никогда не опаздывали; напротив, часто нас задерживали на промежуточных станциях, которые мы должны проследовать с ходу, потому что мы шли с нагоном времени и нас посредством задержек обратно вводили в график.

Обычно мы работали молча; лишь изредка Александр Васильевич, не оборачиваясь в мою сторону, стучал ключом по котлу, желая, чтобы я обратил свое внимание на какой-нибудь непорядок в режиме работы машины, или подготавливая меня к резкому изменению этого режима, чтобы я был бдителен. Я всегда понимал безмолвные указания своего старшего товарища и работал с полным усердием, однако механик по-прежнему относился ко мне, равно как и к смазчику-кочегару, отчужденно и постоянно проверял на стоянках пресс-масленки, затяжку болтов в дышловых узлах, опробовал буксы на ведущих осях и прочее. Если я только что осмотрел и смазал какую-либо рабочую трущуюся часть, то Мальцев вслед за мной снова ее осматривал и смазывал, точно не считая мою работу действительной.

— Я, Александр Васильевич, этот крейцкопф уже проверил, — сказал я ему однажды, когда он стал проверять эту деталь после меня.

— А я сам хочу, — улыбнувшись, ответил Мальцев, и в улыбке его была грусть, поразившая меня.

Позже я понял значение его грусти и причину его постоянного равнодушия к нам. Он чувствовал свое превосходство перед нами, потому что понимал машину точнее, чем мы, и он не верил, что я или кто другой может научиться тайне его таланта, тайне видеть одновременно и попутного воробья, и сигнал впереди, ощущая в тот же момент путь, вес состава и усилие машины. Мальцев понимал, конечно, что в усердии, в старательности мы даже можем его превозмочь, но не представлял, чтобы мы больше его любили паровоз и лучше его водили поезда, — лучше, он думал, было нельзя. И Мальцеву поэто-

му было грустно с нами; он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать его, чтобы мы поняли.

И мы, правда, не могли понять его умения. Я попросил однажды разрешить повести мне состав самостоятельно. Александр Васильевич позволил мне проехать километров сорок и сел на место помощника. Я повел состав и через двадцать километров уже имел четыре минуты опоздания, а выходы с затяжных подъемов преодолевал со скоростью не более тридцати километров в час. После меня машину повел Мальцев; он брал подъемы со скоростью пятидесяти километров, и на кривых у него не забрасывало машину, как у меня, и он вскоре нагнал упущенное мною время.

2

Около года я работал помощником у Мальцева, с августа по июль, и 5 июля Мальцев совершил свою последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда...

Мы взяли состав в восемьдесят пассажирских осей, опоздавший до нас в пути на четыре часа. Диспетчер вышел к паровозу и специально попросил Александра Васильевича сократить, сколь возможно, опоздание поезда, свести это опоздание хотя бы к трем часам, иначе ему трудно будет выдать порожняк на соседнюю дорогу. Мальцев пообещал ему нагнать время, и мы тронулись вперед.

Было восемь часов пополудни, но летний день еще длился, и солнце сияло с торжественной утренней силой. Александр Васильевич потребовал от меня держать все время давление пара в котле лишь на пол-атмосферы ниже предельного.

Через полчаса мы вышли в степь, на спокойный мягкий профиль. Мальцев довел скорость хода до девяноста километров и ниже не сдавал, наоборот — на горизонталях и малых уклонах доводил скорость до ста километров. На подъемах я форсировал топку до предельной возможности и заставлял кочегара вручную загружать шуровку, в помощь стоккерной машине, ибо пар у меня садился.

Мальцев гнал машину вперед, отведя регулятор на всю дугу и отдав реверс[1] на полную отсечку. Мы теперь шли навстречу мощной туче, появившейся из-за горизонта.

С нашей стороны тучу освещало солнце, а изнутри ее рвали свирепые, раздраженные молнии, и мы видели, как лучи молний вертикально вонзались в безмолвную дальнюю землю, и мы бешено мчались к той дальней земле, словно спеша на ее защиту. Александра Васильевича, видимо, увлекло это зрелище: он далеко высунулся в окно, глядя вперед, и глаза его, привыкшие к дыму, к огню и пространству, блестели сейчас воодушевлением. Он понимал, что работа и мощность нашей машины могли идти в сравнение с работой грозы, и, может быть, гордился этой мыслью.

Вскоре мы заметили пыльный вихрь, несшийся по степи нам навстречу. Значит, и грозовую тучу несла буря нам в лоб. Свет потемнел вокруг нас; сухая земля и степной песок засвистели и заскрежетали по железному телу паровоза; видимости не стало, и я пустил турбодинамо для освещения и включил лобовой прожектор впереди паровоза. Нам теперь трудно было дышать от горячего пыльного вихря, забивавшегося в кабину и удвоенного в своей силе встречным движением машины, от топочных газов и раннего сумрака, обступившего нас. Паровоз с воем пробивался вперед в смутный, душный мрак — в щель света, создаваемую лобовым прожектором. Скорость упала до шестидесяти километров; мы работали и смотрели вперед как в сновидении.

Вдруг крупная капля ударила по ветровому стеклу — и сразу высохла, испитая жарким ветром. Затем мгновенный синий свет вспыхнул у моих ресниц и проник в меня до самого содрогнувшегося сердца; я схватился за кран инжектора[2], но боль в сердце уже отошла от меня, и я сразу поглядел в сторону Мальцева — он смотрел вперед и вел машину, не изменившись в лице.

— Что это было? — спросил я у кочегара.

— Молния, — сказал он. — Хотела в нас попасть, да маленько промахнулась.

[1] *Ре́верс* — прибор, изменяющий движение машины на обратное.
[2] *Инже́ктор* — насос.

Мальцев расслышал наши слова.

— Какая молния? — спросил он громко.

— Сейчас была, — произнес кочегар.

— Я не видел, — сказал Мальцев и снова обратился лицом наружу.

— Не видел! — удивился кочегар. — Я думал, котел взорвался, во как засветило, а он не видел.

Я тоже усомнился, что это была молния.

— А гром где? — спросил я.

— Гром мы проехали, — объяснил кочегар. — Гром всегда после бьет. Пока он вдарил, пока воздух расшатал, пока туда-сюда, мы уже прочь его пролетели. Пассажиры, может, слыхали — они сзади.

Далее мы вошли в ливень, но скоро миновали его и выехали в утихшую, темную степь, над которой неподвижно покоились смирные, изработавшиеся тучи.

Потемнело вовсе, и наступила спокойная ночь. Мы ощущали запах сырой земли, благоухание трав и хлебов, напитанных дождем и грозой, и неслись вперед, нагоняя время.

Я заметил, что Мальцев стал хуже вести машину — на кривых нас забрасывало, скорость доходила то до ста с лишним километров, то снижалась до сорока. Я решил, что Александр Васильевич, наверно, очень уморился, и по этому ничего не сказал ему, хотя мне было очень трудно держать в наилучшем режиме работу топки и котла при таком поведении механика. Однако через полчаса мы должны остановиться для набора воды, и там, на остановке, Александр Васильевич поест и немного отдохнет. Мы уже нагнали сорок минут, а до конца нашего тягового участка мы нагоним еще не менее часа.

Все же я обеспокоился усталостью Мальцева и стал сам внимательно глядеть вперед — на путь и на сигналы. С моей стороны, над левой машиной, горела на весу электрическая лампа, освещая машущий, дышловой механизм. Я хорошо видел напряженную, уверенную работу левой машины, но затем лампа над нею припотухла и стала гореть бедно, как одна свечка. Я обернулся в кабину. Там тоже все лампы горели теперь в четверть накала, еле освещая приборы. Странно, что Александр Васильевич не по-

стучал мне ключом в этот момент, чтобы указать на такой непорядок. Ясно было, что турбодинамо не давало расчетных оборотов и напряжение упало. Я стал регулировать турбодинамо через паропровод и долго возился с этим устройством, но напряжение не поднималось.

В это время туманное облако красного света прошло по циферблатам приборов и потолку кабины. Я выглянул наружу.

Впереди, во тьме, близко или далеко — нельзя было установить, красная полоса света колебалась поперек нашего пути. Я не понимал, что это было, но понял, что надо делать.

— Александр Васильевич! — крикнул я и дал три гудка остановки.

Раздались взрывы петард[1] под бандажами[2] наших колес. Я бросился к Мальцеву; он обернул ко мне свое лицо и поглядел на меня пустыми покойными глазами. Стрелка на циферблате тахометра показывала скорость в шестьдесят километров.

— Мальцев! — закричал я. — Мы петарды давим! — и протянул руки к управлению.

— Прочь! — воскликнул Мальцев, и глаза его засияли, отражая свет тусклой лампы над тахометром.

Он мгновенно дал экстренное торможение и перевел реверс назад. Меня прижало к котлу, я слышал, как выли бандажи колес, стругавшие рельсы.

— Мальцев! — сказал я. — Надо краны цилиндров открыть, машину сломаем.

— Не надо! Не сломаем! — ответил Мальцев.

Мы остановились. Я закачал инжектором воду в котел и выглянул наружу. Впереди нас, метрах в десяти, стоял на нашей линии паровоз, тендером[3] в нашу сторону. На тендере находился человек; в руках у него была длинная кочерга, раскаленная на конце до красного цвета; ею и махал он, желая остановить курьерский поезд. Паровоз этот

---

[1] *Петáрда* — сигнальный разрывной снаряд, применяемый для остановки поезда в случае опасности.

[2] *Бандáж* — металлический обод на железнодорожном колесе для увеличения прочности.

[3] *Тéндер* — задняя часть паровоза.

был толкачом товарного состава, остановившегося на перегоне.

Значит, пока я налаживал турбодинамо и не глядел вперед, мы прошли желтый светофор, а затем и красный и, вероятно, не один предупреждающий сигнал путевых обходчиков. Но отчего эти сигналы не заметил Мальцев?

— Костя! — позвал меня Александр Васильевич.

Я подошел к нему.

— Костя! Что там впереди нас?

Я объяснил ему.

— Костя... Дальше ты поведешь машину, я ослеп.

На другой день я привел обратный состав на свою станцию и сдал паровоз в депо, потому что у него на двух скатах слегка сместились бандажи. Доложив начальнику депо о происшествии, я повел Мальцева под руку к месту его жительства; сам Мальцев был в тяжком удручении и не пошел к начальнику депо.

Мы еще не дошли до того дома на заросшей травою улице, в котором жил Мальцев, как он попросил меня оставить его одного.

— Нельзя, — ответил я. — Вы, Александр Васильевич, слепой человек.

Он посмотрел на меня ясными, думающими глазами.

— Теперь я вижу, ступай домой... Я вижу все — вот жена вышла встретить меня.

У ворот дома, где жил Мальцев, действительно стояла в ожидании женщина, жена Александра Васильевича, и ее открытые черные волосы блестели на солнце.

— А у нее голова покрытая или безо всего? — спросил я.

— Без, — ответил Мальцев. — Кто слепой — ты или я?

— Ну, раз видишь, то смотри, — решил я и отошел от Мальцева.

3

Мальцева отдали под суд, и началось следствие. Меня вызвал следователь и спросил, что я думаю о происшествии с курьерским поездом. Я ответил, что думал, — что Мальцев не виноват.

— Он ослеп от близкого разряда, от удара молнии, — сказал я следователю. — Он был контужен, и нервы, которые управляют зрением, были у него повреждены... Я не знаю, как это нужно сказать точно.

— Я вас понимаю, — произнес следователь, — вы говорите точно. Это все возможно, но недостоверно. Ведь сам Мальцев показал, что он молнии не видел.

— А я ее видел, и смазчик ее тоже видел.

— Значит, молния ударила ближе к вам, чем к Мальцеву, — рассуждал следователь. — Почему же вы и смазчик не контужены, не ослепли, а машинист Мальцев получил контузию зрительных нервов и ослеп? Как вы думаете?

Я стал в тупик, а затем задумался.

— Молнию Мальцев увидеть не мог, — сказал я.

Следователь удивленно слушал меня.

— Он увидеть ее не мог. Он ослеп мгновенно — от удара электромагнитной волны, которая идет впереди света молнии. Свет молнии есть последствие разряда, а не причина молнии. Мальцев был уже слепой, когда молния засветилась, а слепой не мог увидеть света.

— Интересно, — улыбнулся следователь. — Я бы прекратил дело Мальцева, если бы он и сейчас был слепым. Но вы же знаете, теперь он видит так же, как мы с вами.

— Видит, — подтвердил я.

— Был ли он слепым, — продолжал следователь, — когда на огромной скорости вел курьерский поезд в хвост товарному поезду?

— Был, — подтвердил я.

Следователь внимательно посмотрел на меня.

— Почему же он не передал управление паровозом вам или по крайней мере не приказал вам остановить состав?

— Не знаю, — сказал я.

— Вот видите, — говорил следователь. — Взрослый сознательный человек управляет паровозом курьерского поезда, везет на верную гибель сотни людей, случайно избегает катастрофы, а потом оправдывается тем, что он был слеп. Что это такое?

— Но ведь он и сам бы погиб! — говорю я.

— Вероятно. Однако меня больше интересует жизнь ст тен людей, чем жизнь одного человека. Может быть, у него были свои причины погибнуть.

— Не было, — сказал я.

Следователь стал равнодушен; он уже заскучал от меня, как от глупца.

— Вы все знаете, кроме главного, — в медленном раз мышлении сказал он. — Вы можете идти.

От следователя я пошел на квартиру Мальцева.

— Александр Васильевич, — сказал я ему, — почему вы не позвали меня на помощь, когда ослепли?

— А я видел, — ответил он. — Зачем ты нужен мне был?

— Что вы видели?

— Все: линию, сигналы, пшеницу в степи, работу пра вой машины — я все видел...

Я озадачился.

— А как же так у вас вышло? Вы проехали все преду преждения, вы шли прямо в хвост другому составу...

Бывший механик первого класса грустно задумался и тихо ответил мне, как самому себе:

— Я привык видеть свет, и я думал, что вижу его, а я видел его тогда только в своем уме, в воображении. На са мом деле я был слепой, но я этого не знал... Я и в петарды не поверил, хотя и услышал их: я подумал, что ослышал ся. А когда ты дал гудки остановки и закричал мне, я ви дел впереди зеленый сигнал, я сразу не догадался.

Теперь я понял Мальцева, но не знал, почему он не скажет о том следователю, — о том, что, после того как он ослеп, он еще долго видел мир в своем воображении и верил в его действительность. И я спросил об этом Алек сандра Васильевича.

— А я ему говорил, — ответил Мальцев.

— А он что?

— «Это, говорит, ваше воображение было; может, вы и сейчас воображаете что-нибудь, я не знаю. Мне, говорит, нужно установить факты, а не ваше воображение или мни тельность. Ваше воображение — было оно или нет — я про верить не могу, оно было лишь у вас в голове; это ваши слова, а крушение, которое чуть-чуть не произошло, — это действие».

— Он прав, — сказал я.

— Прав, я сам знаю, — согласился машинист. — И я тоже прав, а не виноват. Что же теперь будет?

— В тюрьме сидеть будешь, — сообщил я ему.

4

Мальцева посадили в тюрьму. Я по-прежнему ездил по мощником, но только уже с другим машинистом — осто рожным стариком, тормозившим состав еще за километр до желтого светофора, а когда мы подъезжали к нему, то сигнал переделывался на зеленый, и старик опять начинал волочить состав вперед. Это была не работа: я скучал по Мальцеву.

Зимою я был в областном городе и посетил своего брата, студента, жившего в университетском общежитии. Брат сказал мне среди беседы, что у них, в университете, есть в физической лаборатории установка Тесла для получения искусственной молнии. Мне пришло в голову некоторое со ображение, неуверенное и еще неясное для меня самого.

Возвратившись домой, я обдумал свою догадку относи тельно установки Тесла и решил, что моя мысль правиль ная. Я написал письмо следователю, ведшему в свое время дело Мальцева, с просьбой испытать заключенного Мальце ва на подверженность его действию электрических разря дов. В случае если будет доказана подверженность психики Мальцева либо его зрительных органов действию близких внезапных электрических разрядов, то дело Мальцева надо пересмотреть. Я указал следователю, где находится уста новка Тесла и как нужно произвести опыт над человеком.

Следователь долго не отвечал мне, но потом сообщил, что областной прокурор согласился произвести предложен ную мною экспертизу в университетской физической лабо ратории.

Через несколько дней следователь вызвал меня повест кой. Я пришел к нему взволнованный, заранее уверенный в счастливом решении дела Мальцева.

Следователь поздоровался со мной, но долго молчал, медленно читал какую-то бумагу печальными глазами; я терял надежду.

— Вы подвели своего друга, — сказал затем следователь.

— А что? Приговор остается прежний?

— Нет. Мы освободим Мальцева. Приказ уже дан, может быть, Мальцев уже дома.

— Благодарю вас. — Я встал на ноги перед следователем.

— А мы вас благодарить не будем. Вы дали плохой совет: Мальцев опять слепой...

Я сел на стул в усталости, во мне мгновенно сгорела душа, и я захотел пить.

— Эксперты без предупреждения, в темноте, провели Мальцева под установкой Тесла, — говорил мне следователь. — Включен был ток, произошла молния, и раздался резкий удар. Мальцев прошел спокойно, но теперь он снова не видит света — это установлено объективным путем, судебно-медицинской экспертизой.

Следователь попил воды и добавил:

— Сейчас он опять видит мир только в одном своем воображении... Вы его товарищ, помогите ему.

— Может быть, к нему опять вернется зрение, — высказал я надежду, — как было тогда, после паровоза...

Следователь подумал:

— Едва ли... Тогда была первая травма, теперь вторая. Рана нанесена по раненому месту.

И, не сдерживаясь более, следователь встал и в волнении начал ходить по комнате.

— Это я виноват... Зачем я послушался вас и, как глупец, настоял на экспертизе! Я рисковал человеком, а он не вынес риска.

— Вы не виноваты, вы ничем не рисковали, — утешил я следователя. — Что лучше — свободный слепой человек или зрячий, но невинно заключенный?

— Я не знал, что мне придется доказать невиновность человека посредством его несчастья, — сказал следователь. — Это слишком дорогая цена.

— Вы не волнуйтесь, товарищ следователь. Тут действовали факты внутри человека, а вы искали их только снаружи. Но вы сумели понять свой недостаток и поступили с Мальцевым как человек благородный. Я вас уважаю.

— Я вас тоже, — сознался следователь. — Знаете, из вас мог бы выйти помощник следователя...

— Спасибо, но я занят, я помощник машиниста на курьерском паровозе.

Я ушел. Я не был другом Мальцева, и он ко мне всегда относился без внимания и заботы. Но я хотел защитить его от горя судьбы, я был ожесточен против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека; я почувствовал тайный, неуловимый расчет этих сил в том, что они губили именно Мальцева, а не меня, скажем. Я понимал, что в природе не существует такого расчета в нашем человеческом, математическом смысле, но я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных, для человеческой жизни гибельных обстоятельств, и эти гибельные силы сокрушают избранных, возвышенных людей. Я решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе, — я чувствовал свою особенность человека. И я пришел в ожесточение и решил воспротивиться, сам еще не зная, как это нужно сделать.

На следующее лето я сдал экзамены на звание машиниста и стал ездить самостоятельно на паровозе серии «СУ», работая на пассажирском местном сообщении. И почти всегда, когда я подавал паровоз под состав, стоявший у станционной платформы, я видел Мальцева, сидевшего на крашеной скамейке. Облокотившись рукою на трость, поставленную между ног, он обращал в сторону паровоза свое страстное, чуткое лицо с опустевшими слепыми глазами, и жадно дышал запахом гари и смазочного масла, и внимательно слушал ритмичную работу паровоздушного насоса. Утешить его мне было нечем, и я уезжал, а он оставался.

Шло лето; я работал на паровозе и часто видел Александра Васильевича — не только на вокзальной платформе, но встречал его и на улице, когда он медленно шел, ощупывал дорогу тростью. Он осунулся и постарел за последнее время; жил он в достатке — ему определили пенсию, жена его работала, детей у них не было, но тоска, безжизненная участь снедали Александра Васильевича, и тело его худело от по-

стоянного горя. Я с ним иногда разговаривал, но видел, что ему скучно было беседовать о пустяках и довольствоваться моим любезным утешением, что и слепой — это тоже вполне полноправный, полноценный человек.

— Прочь! — говорил он, выслушав мои доброжелательные слова.

Но я тоже был сердитый человек, и, когда, по обычаю, он однажды велел уходить мне прочь, я сказал:

— Завтра в десять тридцать я поведу состав. Если будешь сидеть тихо, я возьму тебя в машину.

Мальцев согласился:

— Ладно. Я буду смирным. Дай мне там в руки что-нибудь, дай реверс подержать; я крутить его не буду.

— Крутить его ты не будешь! — подтвердил я. — Если покрутишь, я тебе дам в руки кусок угля и больше сроду не возьму на паровоз.

Слепой промолчал; он настолько хотел снова побыть на паровозе, что смирился передо мной.

На другой день я пригласил его с крашеной скамейки на паровоз и сошел к нему навстречу, чтобы помочь ему подняться в кабину.

Когда мы тронулись вперед, я посадил Александра Васильевича на свое место машиниста, положил одну его руку на реверс и другую на тормозной автомат и поверх его рук положил свои руки. Я водил своими руками, как надо, и его руки тоже работали. Мальцев сидел молчаливо и слушался меня, наслаждаясь движением машины, ветром в лицо и работой. Он сосредоточился, забыл свое горе слепца, и кроткая радость осветила изможденное лицо этого человека, для которого ощущение машины было блаженством.

В обратный конец мы ехали подобным же способом: Мальцев сидел на месте механика, а я стоял, склонившись, возле него и держал свои руки на его руках. Мальцев уже приноровился работать таким образом настолько, что мне было достаточно легкого нажима на его руку, и он с точностью ощущал мое требование. Прежний, совершенный мастер машины стремился превозмочь в себе недостаток зрения и чувствовать мир другими средствами, чтобы работать и оправдать свою жизнь.

На спокойных участках я вовсе отходил от Мальцева и смотрел вперед со стороны помощника.

Мы уже были на подходе к Толубееву; наш очередной рейс благополучно заканчивался, и шли мы вовремя. Но на последнем перегоне нам светил навстречу желтый светофор. Я не стал преждевременно сокращать хода и шел на светофор с открытым паром. Мальцев сидел спокойно, держа левую руку на реверсе; я смотрел на своего учителя с тайным ожиданием...

— Закрой пар! — сказал мне Мальцев.

Я промолчал, волнуясь всем сердцем.

Тогда Мальцев встал с места, протянул руку к регулятору и закрыл пар.

— Я вижу желтый свет, — сказал он и повел рукоятку тормоза на себя.

— А может быть, ты опять только воображаешь, что видишь свет! — сказал я Мальцеву.

Он повернул ко мне свое лицо и заплакал. Я подошел к нему и поцеловал его в ответ:

— Веди машину до конца, Александр Васильевич: ты видишь теперь весь свет!

Он довел машину до Толубеева без моей помощи. После работы я пошел вместе с Мальцевым к нему на квартиру, и мы вместе с ним просидели весь вечер и всю ночь.

Я боялся оставить его одного, как родного сына, без защиты против действия внезапных и враждебных сил нашего прекрасного и яростного мира.

Вопросы

1. Как можно объяснить заглавие рассказа?
2. О чем поведал автор читателям? Над чем заставил задуматься?
3. Кто главный герой рассказа?
4. Чего больше всего хотели Мальцев и его помощник?
5. Есть ли сходство платоновских героев (Никиты, Юшки, неизвестного цветка) с Мальцевым? В чем оно? В чем их непохожесть?
6. Как вы поняли состояние рассказчика, когда он глядел на машину «ИС»? С чем он сравнивал эту радость?

7. Как, по словам рассказчика, Мальцев вел машину? Вспомните эти сравнения. Почему Мальцеву было грустно с помощником?
8. Что случилось с Мальцевым и как старался помощник вывести его из этой трагической ситуации?
9. Как заканчивается рассказ и о чем говорит эта концовка? Что помогло победить слепоту Мальцева?

Совершенствуйте свою речь

1. Перескажите текст о том, как радовался рассказчик своему назначению к Мальцеву и созерцанию машины «ИС», используя авторские сравнения. Можно ли сказать, что Мальцев относился к машине как к «одухотворенным механизмам» и что так же относится к ним автор?
2. Как вы понимаете фразы: «Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера...», «Я всегда понимал безмолвные указания своего старшего товарища и работал с полным усердием...», «...он скучал от своего таланта, как от одиночества...»?
3. Расскажите об одном из героев и о его отношении к своей профессии.
4. Писатель В. Лидин пишет о Платонове: «Андрей Платонов глубоко проник мне в душу каким-то своим сердечным, необычайно нежным и мудрым отношением к людям, которые стали героями его рассказов...»
   Каково ваше отношение к Платонову и его героям? Как Платонов относится к своим необыкновенным героям?



Борис Леонидович ПАСТЕРНАК

1890—1960

Борис Леонидович Пастернак родился в Москве. Его отец — известный художник Л. О. Пастернак, мать — пианистка Р. И. Кауфман. Детские годы поэта протекали в атмосфере искусства — музыки, литературы. Еще в пору детства и ранней юности неизгладимое впечатление на него произвели немецкий поэт Райнер-Мария Рильке, писатель Лев Толстой, композитор Скрябин. Впоследствии он придавал определяющее значение в формировании своего духовного облика именно этим первым встречам с миром большого творчества, с художественной гениальностью. К ним присоединилось позднее столь же личное, обостренно-биографическое восприятие лирики Блока и знакомство с Маяковским.

Первое творческое пристрастие и увлечение Пастернака всецело отдано музыке. В 1909 году он поступает на историко-филологический факультет Московского университета, едет в Германию и один семестр учится в Марбургском университете, посещает Швейцарию, Италию. В 1908—1909 годах у Пастернака пробуждается интерес к современной поэзии. Он принимает участие в поэтическом кружке, пробует силы в литературной работе. С 1913 года поэтическое искусство становится главным и постоянным делом его жизни.

Появление книги «Сестра моя — жизнь» в 1922 году выдвинуло его в ряд видных мастеров современного стиха. С этой книги начинается Пастернак как вполне самобытное поэтическое явление.

Он работает над историко-революционными поэмами «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт», романом в стихах, переводит грузинских поэтов, Шекспира, Гёте, Шиллера, Рильке и др. В начале 1941 года начинается полоса творческого подъема, появляется ряд первоклассных стихотворений, вошедших в книгу «На ранних поездах». Отсюда протягиваются прямые связи к лирике Пастернака конца 40—50-х годов XX века, увенчавшей его жизненный путь. Искусство в его понимании — непрестанная самоотдача:

Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех...

В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ Б. Л. ПАСТЕРНАКА

Центральное место в лирике Пастернака принадлежит природе. Рассказывая о веснах и зимах, о дождях и рассветах, Пастернак повествует о природе самой жизни, мирного бытия, исповедует веру в жизнь, которая, как нам кажется, главенствует в его поэзии и составляет ее нравственную основу. Удивление перед чудом существования — вот поза, в которой застыл Пастернак, навсегда пораженный, завороженный своим открытием: «опять весна». От его пейзажей веет свежестью, здоровьем. У Пастернака природа приобретает все черты индивидуального лица. Мы привыкли к тому, что «дождь идет», а теперь узнаем: «Скорей со сна, чем с крыш; скорей забывчивый, чем робкий, топтался дождик у дверей...» У пейзажей Пастернака есть свой нрав, симпатии, излюбленные развлеченья — тучи играют в горелки, гром занимается фотографией, ручьи поют романс. Его пейзаж наделяется даже портретными чертами:

И лес шелушится, и каплями
Роняет струящийся пот.

Поэзия Пастернака насквозь метафорична. Метафора в его поэтике выполняет прежде всего связующую роль. При чтении его стихов подчас возникает иллюзия, что автора нет и в помине, что он отсутствует даже как рассказчик, как свидетель, видевший все то, что здесь изображено. Природа объясняется от собственного имени:

...В раскрытые окна на их рукоделье
Садились, как голуби, облака.
Они замечали: с воды похудели
Заборы — заметно, кресты — слегка.

Если Маяковский и Цветаева хотят говорить на весь мир от своего лица, то Пастернак предпочитает, чтобы мир говорил за него и вместо него: «не я про весну, а весна про меня», «не я про сад, а сад про меня».

Это единение с природой, без свидетелей, придает стихам Пастернака особую интимность и подлинность.

По статье А. Д. Синявского

* * *

Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.

Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк маховой.
Только крыши, снег и, кроме
Крыш и снега, — никого.

анафора
И опять зачертит иней,
И опять завертит мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной.

И опять кольнут доныне
Неотпущенной виной,
И окно по крестовине
Сдавит голод дровяной.

Но нежданно по портьере
Пробежит вторженья дрожь.

Тишину шагами меря,
Ты, как будущность, войдешь.

Ты появишься у двери
В чем-то белом, без причуд,
В чем-то впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют.

Июль

По дому бродит привиденье.
Весь день шаги над головой.
На чердаке мелькают тени.
По дому бродит домовой.

Везде болтается некстати,
Мешается во все дела,
В халате кра́дется к кровати,
Срывает скатерть со стола.

Ног у порога не обтерши,
Вбегает в вихре сквозняка
И с занавеской, как с танцоршей,
Взвивается до потолка.

Кто этот баловник-невежа
И этот призрак и двойник?
Да это наш жилец приезжий,
Наш летний дачник, отпускник.

На весь его недолгий роздых
Мы целый дом ему сдаем.
Июль с грозой, июльский воздух
Снял комнаты у нас внаем.

Июль, таскающий в одёже
Пух одуванчиков, лопух,
Июль, домой сквозь окна вхожий,
Всё громко говорящий вслух.

Степной нечесаный растрепа,
Пропахший липой и травой,
Ботвой и запахом укропа,
Июльский воздух луговой.

Вопрос и задания

1. Подготовьте пересказ статьи о жизни и творчестве Б. Л. Пастернака.
2. Прочитайте стихотворения Пастернака. Подумайте: о чем говорит поэт строчками «не я про весну, а весна про меня», «не я про сад, а сад про меня»? Подтвердите свой ответ цитатами из стихотворений.
3. Подготовьте выразительное чтение стихотворений. Одно из произведений Пастернака о родной природе выучите наизусть, подчеркнув при чтении метафоричность.

Обогащайте свою речь

1. Как вы понимаете строки стихотворения Б. Л. Пастернака: «Только белых мокрых комьев / Быстрый промельк маховой...»; «И опять зачертит иней...»?
2. Вызывает ли у вас природа в стихотворениях Пастернака удивление, восхищение? Создается ли у вас впечатление, что природа «объясняется от своего имени»?



Александр Трифонович ТВАРДОВСКИЙ

1910—1971

Твардовский — художник с мудрым сердцем и чистой совестью, до последнего дыхания преданный поэзии, человек большого гражданского мужества и честности...

К. Кулиев

Родился я в Смоленщине, в 1910 году, 21 июня, на «хуторе пустоши Столпово», так назывался в бумагах клочок земли, приобретенной моим отцом Трифоном Гордеевичем Твардовским... Местность эта была довольно дикая, в стороне от дорог, и отец, замечательный мастер кузнечного дела, вскоре закрыл кузницу, решив жить с земли. Но ему то и дело приходилось обращаться к молотку: арендовать в отходе чужой горн и наковальню, работая исполу[1].

В жизни нашей семьи бывали изредка просветы относительного достатка, но вообще жилось скудно и трудно... Отец, он умер в 1949 году, был человеком грамотным и даже начитанным по-деревенски. Книга не являлась редкостью в нашем домашнем обиходе. Целые зимние вечера у нас часто отдавались чтению вслух какой-либо книги. Первое мое знакомство с «Полтавой» и «Дубровским» Пушкина, «Тарасом Бульбой» Гоголя, популярнейшими стихотворениями Лермонтова, Некрасова, А. К. Толстого, Никитина произошло именно таким образом.

Мать моя, Мария Митрофановна, была всегда очень впечатлительна и чутка ко многому... Ее до слез трогал

[1] *Йсполу* — на половинных началах, пополам с другими.

звук пастушьей трубы где-нибудь вдалеке за нашими хуторскими кустами и болотцами, или отголосок песни с далеких деревенских полей, или, например, запах первого молодого сена, вид какого-нибудь одинокого деревца и т. п.[1]

Стихи писать я начал до овладения первоначальной грамотой. Хорошо помню, что первое мое стихотворение, обличающее моих сверстников, разорителей птичьих гнезд, я пытался записать, еще не зная всех букв алфавита и, конечно, не имея понятия о правилах стихосложения. С того времени я и пишу...

По-разному благосклонно и по-разному с тревогой отнеслись мои родители к тому, что я стал сочинять стихи. Отцу, человеку очень честолюбивому, это было лестно, но из книг он знал, что писательство не сулит больших выгод, что писатели бывают и не знаменитые, безденежные, живущие на чердаках и голодающие. Мать, видя мою приверженность к таким необычным занятиям, чуяла в ней некую печальную предназначенность моей судьбе и жалела меня.

С 1924 года я начал посылать небольшие заметки в редакции смоленских газет. Писал о неисправных мостах, о комсомольских субботниках, о злоупотреблениях местных властей и т. п. Изредка заметки печатались... Потом я отважился послать и стихи. В газете «Смоленская деревня» летом 1925 года появилось мое первое напечатанное стихотворение «Новая изба».

После этого я, собрав с десяток стихотворений, отправился в Смоленск к М. В. Исаковскому. Принял он меня приветливо, отобрав часть стихотворений, вызвал художника, который зарисовал меня, и вскоре в деревню пришла газета со стихами и портретом «селькора — поэта А. Твардовского».

Михаилу Исаковскому, земляку, а впоследствии другу, я очень многим обязан в своем развитии... Со «Страны Муравии»... я начинаю счет своим писаниям... Выход этой

[1] Твардовские (родители, братья и сестра), как семья кулаков, были сосланы в 30-е годы. Об этих горьких событиях упоминается и в стихотворении «Братья».

книги в свет послужил причиной значительных перемен и в моей личной жизни.

Могу сказать, что если Смоленщина, со всей ее неповторимой и бесценной для меня памятью, досталась мне, как говорится, от отца с матерью, то... Сибирь, с ее суровой и величественной красой, природными богатствами, гигантскими стройками и сказочно широкими перспективами, я обретал для себя сам в зрелые годы.

Эту новую мою связь — связь с «иными краями» я сознательно развиваю и укрепляю с конца сороковых годов, когда впервые побывал на востоке страны, и она непосредственно сказалась в главной моей работе последних лет — книге «За далью — даль», а также в лирике и очерках...

А. Т. Твардовский

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А. Т. ТВАРДОВСКОМ

«Когда я ближе узнал Твардовского, мне понятнее стала его сдержанность, даже замкнутость, если речь касалась его „творческих планов“ — пишет В. Я. Лакшин[1]. — Александр Трифонович сам не любил, забегая вперед, говорить о своей неоконченной работе и другим не разрешал. Он считал, что серьезное литературное дело совершается не на юру[2] и на ветру, а в тишине наедине с листом бумаги. И самый хороший замысел можно „заболтать“, испортить разговорами о нем...

Лишенный внешнего лоска, он обладает вместе с тем врожденным тактом и почти аристократической воспитанностью... Выговаривал кому-то: если тебе позвонили по телефону, а тема разговора исчерпана и надо прощаться, ты не можешь первым сказать „до свидания“, — разговор кончает тот, кто тебе звонит.

Твардовский истово верил, что любое зло ненадолго, любая беда минет, что надо ждать от жизни добрых перемен, от людей — хороших вестей...»

[1] См. книгу В. Лакшина «Открытая дверь» (М., 1989).
[2] *Не на юру́* — не на открытом, всем видном месте.

УРОКИ ТВАРДОВСКОГО

Из интервью[1] журналиста с художником О. Г. Верейским, которого связывала с Твардовским почти 30-летняя дружба...

«— Какие черты личности Твардовского могли бы вы назвать главными, определяющими?

— Искренность, непосредственность поведения и самостоятельность мышления — он никогда не придерживался общепринятого русла, был независим в мыслях...

— Доводилось ли вам присутствовать при рождении стихов?

— Творческая кухня поэта была скрыта от посторонних глаз. И только однажды, во время грибной прогулки по лесу, я оказался случайным свидетелем этого процесса. Случай описан мною в очерке „К двум портретам“. Позвольте процитировать его концовку: „Продираясь сквозь заросли, я время от времени видел Александра Трифоновича, который, к моему удивлению, смотрел не под ноги, а прямо перед собой и что-то бормотал невнятно, нараспев. Я отошел, чтобы не мешать, но мой спутник меня уже не замечал. Он говорил все громче, все отчетливее... „И чью-то душу отпустила боль“. И снова и снова одну и ту же фразу. И потом: „И чье-то сердце отпустила боль“... Через несколько дней я услышал все стихотворение:

К обидам горьким собственной персоны
Не призывать участья добрых душ.
Жить, как живешь, своей страдой бессонной,
Взялся за гуж — не говори: не дюж.
С тропы своей ни в чем не соступая,
Не отступая — быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.

Эти строки, одни из последних, могли бы стать эпиграфом к его судьбе или эпитафией на его памятнике...»

[1] *Интервью́* — беседа журналиста, писателя, общественного деятеля, ученого с группой лиц или с одним человеком на важную тему.

Вопрос и задания

1. Что добавили в понимание личности Твардовского высказывания о нем и какой вам видится личность поэта? Сформулируйте развернутый ответ.
2. Прочитайте воспоминания об А. Твардовском, используйте их в рассказе о писателе.
3. Прочитайте стихотворения А. Т. Твардовского. Определите тему каждого и подготовьте одно из них к конкурсу «Поэзия Твардовского».

* * *

Снега потемнеют синие
Вдоль загородных дорог,
И воды зайдут низинами
В прозрачный еще лесок,

Недвижной гладью прикинутся
И разом — в сырой ночи
В поход отовсюду ринутся,
Из русел выбив ручьи.

И, сонная, талая,
Земля обвянет едва,
Листву прошивая старую,
Пойдет строчить трава,

И с ветром нежно-зеленая
Ольховая пыльца,
Из детских лет донесенная,
Как тень, коснется лица.

И сердце почует заново,
Что свежесть поры любой
Не только была да канула,
А есть и будет с тобой.

* * *

Июль — макушка лета, —
Напомнила газета,
Но прежде всех газет —
Дневного убыль света;
Но прежде малой этой,
Скрытнейшей из примет, —
Ку-ку, ку-ку, — макушка, —
Отстукала кукушка
Прощальный свой привет.
А с липового цвета
Считай, что песня спета,
Считай, пол-лета нет, —
Июль — макушка лета.

* * *

На дне моей жизни,
на самом донышке
Захочется мне
посидеть на солнышке,
На теплом пёнушке.

И чтобы листва
красовалась палая
В наклонных лучах
недалекого вечера.
И пусть оно так,
что морока немалая —
Твой век целиком,
да об этом уж нечего.

Я думу свою
без помехи подслушаю,
Черту подведу
стариковскою палочкой:
Нет, все-таки нет,
ничего, что по случаю
Я здесь побывал
и отметился галочкой.

Обогащайте свою речь

1. Как вы понимаете строки из стихотворения А. Т. Твардовского: «И воды зайдут низинами...»; «Недвижной гладью прикинутся...»; «Листву прошивая старую, / пойдет строчить трава...»; «Июль — макушка лета...»? Какие картины видятся при чтении этих строчек?
2. Постарайтесь написать короткий рассказ «В лесу весной», включив в него слова из стихотворения А. Т. Твардовского.



ЧАС МУЖЕСТВА

Интервью с участником
Великой Отечественной войны
Юрием Георгиевичем Разумовским
о военной поэзии

Грянул год, пришел черед,
Нынче мы в ответе
За Россию, за народ
И за все на свете...

А. Твардовский

В далекое прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной войны, напоенные горем и страданиями миллионов людей. В наши дни можно часто услышать вопрос: «Зачем снова говорить о войне, после которой прошло почти полвека?» Но правы ли мы будем, забыв об уроках войны, забыв о тех, кто погиб или был изувечен, защищая Родину? Правы ли мы будем, забыв об огромной роли писателей, помогавших бороться и побеждать?

Предлагаем вам интервью московских школьников **Маши Ш.** и **Димы Л.** с участником Великой Отечественной войны, поэтом, автором многих стихотворений о войне — **Юрием Георгиевичем Разумовским.**

М. Ш.[1] Какое стихотворение о войне Вы более всего любите?

Ю. Г. На этот вопрос ответить однозначно нельзя. Дело в том, что многие стихи мне по-разному дороги и любимы. Да к тому же поэзия обладает очень интересным свойством: одни и те же стихи по-разному воспринимаются в разное время. У Юлии Друниной, которая прошла фронт в самом тяжком роде войск — в пехоте, есть стихи о ее погибшей подруге. Стихи эти простые, но у меня проступили слезы, когда я читал их в первый раз.

[1] **М. Ш.** — Маша Ш.;
Ю. Г. — Юрий Георгиевич;
Д. Л. — Дима Л.

Есть одно военное стихотворение необычайной судьбы. Я имею в виду «Жди меня» Константина Симонова. Немудреные, казалось бы, строчки в один день узнала вся страна. Они потрясли всех:

Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет — повезло...

Это был крик души, но не одного поэта, а всего народа. На фронте эти стихи вырезали из газеты, переписывали и с ними шли в бой. В тылу женщины плакали над этими стихами. В то время все было общим — страдание и горе, надежды и радости, вера в победу и недоумение, что враг так быстро продвигается в глубь нашей страны. В первых рядах бойцов была и поэзия. Вслушайтесь в суровую музыку стихотворения Анны Ахматовой «Мужество»:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Это стихотворение я тоже люблю, но кроме него у меня еще много любимых стихов, написанных разными поэтами...

М. Ш. А почему много?

Ю. Г. Потому что каждый поэт — это особый мир, особый взгляд на жизнь. В том числе и на войну. Когда множество не похожих друг на друга поэтов по-разному рассказывают о войне, то получается полная и объемная картина. И еще — всегда интересно увидеть то, чего не знаешь или не разглядел сам.



Д. Л. В те годы больше было поэм или стихотворений, баллад или песен?

Ю. Г. Были стихотворные произведения всевозможных жанров. Все они отражали чувства, настроения народа, бойцов, например: «Связист», «Песня смелых» А. Суркова, стихотворения «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...», «Сын артиллериста» К. Симонова и «Баллада о красноармейце Демине» А. Прокофьева, «Машинист» И. Уткина, «Разговор с соседкой» О. Берггольц и «Песня о Днепре» Е. Долматовского, «До свиданья, города и хаты» М. Исаковского, «Баллада о мальчике» И. Сельвинского и поэма П. Антокольского «Сын», стихотворение П. Шубина «Шофер», «Баллада об одиночестве» С. Гудзенко и многие другие. Но, конечно, стихотворения и песни, как

наиболее простые жанры, были нашим главным, говоря по-военному, «оперативным оружием».

М. Ш. С первых дней и до конца войны был на фронте Александр Трифонович Твардовский. По мнению литературоведов, критиков, его стихотворение «Я убит подо Ржевом» можно считать первым памятником Неизвестному солдату, первым в его честь зажженным вечным огнем. Как вы относитесь к его стихотворениям и поэмам?

Ю. Г. Стихотворения и поэмы Александра Твардовского, безусловно, занимают в поэзии о войне особое место. Поэма «Василий Теркин» — это энциклопедия Великой Отечественной войны. Тут и страшное лицо войны, и обыкновенный немудреный ее быт, тут сама жизнь, где рядом и героические подвиги, и обыденные поступки, тут и раздумье поэта, где переплелись и народная мудрость, и лукавая прибаутка, и глубокая мысль. Тут, наконец, рядом, казалось бы, несовместимое — кровь и слезы, шутка и смех. И все это написано простым и при этом ярким, образным языком.

М. Ш. Во многих стихотворениях и песнях тех лет звучит горечь утрат. Вспомним, например, стихотворение-песню Евгения Винокурова «Москвичи». Словно видим картину одиноких матерей, не дождавшихся своих сыновей:

В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.

А где-то в людном мире
Который год подряд,
Одни в пустой квартире,
Их матери не спят.

Свет лампы воспаленной
Пылает над Москвой
В окне на Малой Бронной,
В окне на Моховой.

Вот вы назвали стихотворение Юлии Друниной о погибшей подруге, но есть и другое стихотворение, в котором она пишет, как страшна война:

Я только раз видала рукопашный.
Раз наяву и тысячи во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне...

Ю. Г. Конечно, о войне знают лучше те, кто был на поле боя. Писатель-фронтовик замечает то, что видит не каждый солдат. А это те существенные мелочи, из которых складывается яркая картина времени и событий... Послушайте стихотворение Юрия Белаша «Под пулеметным огнем».

Из черной щели амбразуры —
из перекошенного рта —
по нас,
по полю,
по лазури —
«та-та-та-та!», «та-та-та-та!..».
А мы лежим и хрипло дышим,
уткнувшись касками в траву,
и пули — спинами мы слышим —
у ног тугую землю рвут.
И страшно даже шевельнуться
под этим стелющим огнем...

Я помню наизусть многие его стихи, но просто невозможно прочитать их все. Я только перечислю некоторые из тех, которые мне особенно дороги: «Штыковой бой», «Оглохшая пехота» и многие другие. Если вам попадется его книга «Окопная земля», прочитайте ее, и вы получите более полное представление о войне. И все же во время войны писали не только о сражениях. Солдаты тянулись к душевному теплу, к лирическим исповедальным стихотворениям. Например, очень известным было стихотворение Константина Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». В нем слышится и сострадание, и сочувствие, и нежность ко всем переживающим страшные годы войны. Здесь каждая строчка — картина:

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» —
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась...

Такие стихотворения поддерживали не только воинов, но и их родных. Ольга Берггольц в стихотворении «Твой путь» говорит о силе любви, которая сильнее ненависти, войны и смерти...

Что может враг? Разрушить и убить.
И только-то?
А я могу любить,
а мне не счесть души моей богатства,
а я затем хочу и буду жить,
чтоб всю ее как дань[1] людскому братству
на жертвенник[2] всемирный положить...

Очень скоро стихотворения о любви, полные человечности, душевной теплоты, превращались в песни и еще скорее облетали всю страну.

М. Ш. Какое из ваших стихотворений вы выбрали бы для чтения в школе сегодня?

Ю. Г. Мне хотелось бы прочитать «Балладу о трех шагах», «Балладу о бомбежке» и т. п. Но я прочитаю стихотворение «Я обращаюсь к молодым», потому что оно о тяжком бое, о солдатском долге, о смысле жизни. Я написал его в год 20-летия Победы и обращался к призывникам — ровесникам Победы. Послушайте его.

Я помню этот тяжкий бой:
В ту ночь два раненых солдата
Бежали тайно из санбата
К себе домой — к передовой.
Всю ночь гремел железный гром,

[1] *Дань* — здесь: отдать должное, долг. В старину дань — налог, взимавшийся победителем с побежденного народа.
[2] *Же́ртвенник* — в старину место, на котором приносились жертвы.

А утром тех солдат убило,
И рота их похоронила
На высоте, в песке сыром.
А вы, в невинной простоте,
Поете в тишине негромко
О «безымянной высоте
У незнакомого поселка».
Я нюхал тех сражений дым,
Я видел слева смерть и справа,
И это все дает мне право —
Я обращаюсь к молодым:
— Мальчишки, вам по двадцать лет
И вы — ровесники Победы,
Но смысл ее — не в трубной меди,
Поверьте мне, не в этом. Нет!
Петь можно и о высоте,
О том, как падает ракета,
Но надо быть — на высоте,
Когда понадобится это...

В этом стихотворении я имел в виду высоту духа, моральную высоту, о которой необходимо помнить всегда, в любом возрасте и в любое время.

Д. Л. Сейчас мы все чаще слышим, что народы не хотят войны.

Ю. Г. Конечно, не хотят. И даже в дни войны стихи были проникнуты не только чувством гнева, но и чувством острого сострадания. Вот почему так часто вспоминается во всех публикациях и стихотворение Твардовского «Я убит подо Ржевом», и слова другого короткого его стихотворения — как бы призывающего каждого из нас быть готовым к ответу перед собственной совестью:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...

М. Ш. Юрий Георгиевич! Мне кажется, что не случайно молодежь все чаще включает в свои выступления и кон-

церты стихотворения и песни о войне, о памяти и совести, которые проверялись в жестокие годы военных лет. Например, различны стихотворения Анатолия Жигулина и Владимира Высоцкого, но одинаково скорбная нота в них о павших бойцах.

Из стихотворения «Калина» А. Жигулина:

...Окопы старые
Закрыты пашнями.
Осколки острые
Давно поржавели.

Но память полнится
Друзьями павшими,
И сны тревожные
Нас не оставили...

и слова Владимира Высоцкого из стихотворения «Братские могилы»:

У братских могил нет заплаканных вдов, —
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?..

Д. Л. А каково значение этих стихов о войне в наше мирное время?

Ю. Г. Особое свойство художественной литературы заключается в том, что мы, читая, сопереживаем героям, сравниваем себя с ними, «примериваем» на себя их жизнь, задаемся вопросом: «Как бы я поступил в подобном случае?» В этом смысле стихи о войне — это школа мужества. И вам легко поставить себя на место этих людей: они — почти ваши ровесники, ведь они уходили на фронт со школьной скамьи. А некоторые из них в полном смысле — ваши ровесники — я имею в виду сыновей полка.

Кроме того, война, как всякое трагическое событие, создает такие невероятные ситуации, которые требуют необычайно ответственных решений. Это колоссальное испытание, испытание силы духа, нравственности, совести. А значит, эта поэзия несет в себе нравственное начало. Мы осознаем лучше историю через искусство и литературу.

Вопросы и задания

1. Какая информация в интервью оказалась для вас новой? Попробуйте сами сформулировать вопросы о литературе военных лет, попросив ответить на них ваших родственников, друзей, или найдите ответы в произведениях о войне, или подготовьте целиком интервью с участником Великой Отечественной войны.
   Свои вопросы подтвердите стихотворениями о войне наиболее любимых вами поэтов.
2. Как вы думаете, чем помогала людям поэзия и проза на фронте и в тылу?

Совершенствуйте свою речь

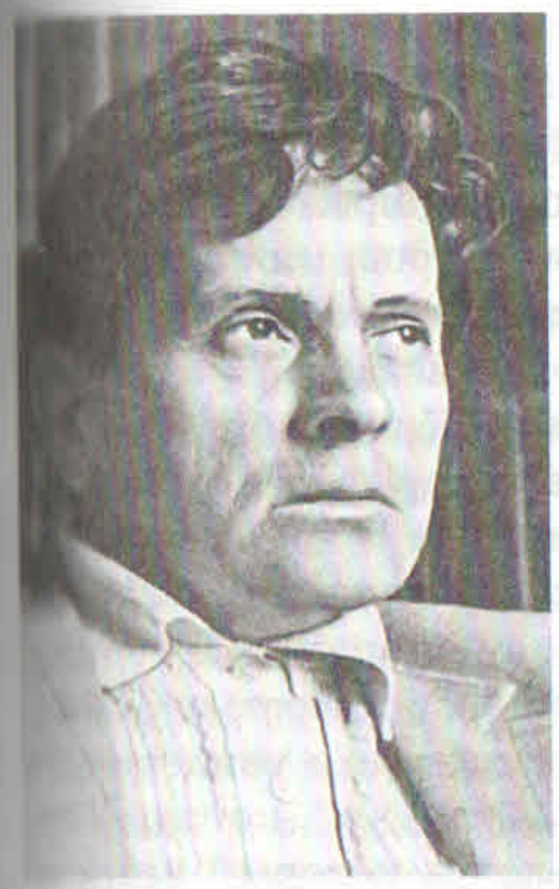
1. Как вы понимаете следующие строки?

Грянул год, пришел черед,
Нынче мы в ответе
За Россию, за народ
И за все на свете.
(А. Твардовский)

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
(А. Ахматова)

Я только раз видала рукопашный.
Раз наяву и тысячи во сне.
(Ю. Друнина)

2. Какая мысль звучит во всех стихотворениях о войне?
3. Составьте программу вечера, посвященного произведениям о войне, и организуйте его в классе.



Федор Александрович АБРАМОВ

1920—1983

Ф. А. Абрамов — автор романов, повестей, рассказов, главным образом о жизни деревни. Самое известное произведение Абрамова — тетралогия «Братья и сестры» (другое название — «Пряслины»). Писатель показывает, как в борьбе с суровыми природными условиями, с нечестными людьми, любящими легкую наживу, и в единстве с трудовым народом выковывается стойкий, мужественный, воистину народный характер главного героя, сына погибшего фронтовика, Михаила Пряслина.

Федор Абрамов ушел на фронт добровольцем с 3-го курса Ленинградского университета. Был тяжело ранен в бою. После войны закончил университет и аспирантуру, стал преподавателем, а затем заведующим кафедрой советской литературы. Но никогда не забывал родную деревню.

Произведения Абрамова проникнуты не только уважением к человеку-труженику, но и любовью ко всему живому.

«В последние годы мне часто приходится слышать от самых разных людей — читателей, друзей, критиков: как не хватает Федора Абрамова, его время наступило, сколько он мог бы еще сказать сегодня... — пишет его жена Л. Крутикова-Абрамова. — Бесспорной истиной стали уже

слова, повторяемые в печати, что Абрамов, как и многие его современники (В. Овечкин, А. Твардовский, А. Яшин, В. Тендряков, Ю. Трифонов, В. Шукшин), подготавливал своими книгами и судьбой нынешние перемены. Федора Александровича всегда волновали острейшие проблемы времени. Он многое прозревал, о многом говорил раньше и смелее других, зачастую подвергался за это разносной и проработочной критике. „Меня били! Крепко били, — говорил он. — Но те произведения, за которые меня били, — проходили годы, проходило время — и их причисляли к положительным явлениям советской литературы". Так было с повестью „Вокруг да около", с романами „Две зимы и три лета", „Пути-перепутья", „Дом", с повестью „Пелагея". А многие произведения вообще не могли увидеть свет при жизни. Лучший его рассказ — „Старухи", который побывал во многих редакциях журналов и который все хвалили, пролежал в столе восемнадцать лет. Он был опубликован только в 1987 году журналом „Наш современник". Но ничто не могло сломить волю и свободомыслие Абрамова. Он был человеком, жадно влюбленным в жизнь, в работу, в слово. Он был неустанным тружеником и подвижником-ратоборцем, воителем за правду и справедливость».

21 *Вопрос*

Какова главная тема произведений Ф. А. Абрамова?

О чем плачут лошади

Всякий раз, когда я спускался с деревенского угора на луг, я как бы вновь и вновь попадал в свое далекое детство — в мир пахучих трав, стрекоз и бабочек и, конечно же, в мир лошадей, которые паслись на привязи, каждая возле своего кола.

Я частенько брал с собой хлеб и подкармливал лошадей, а если не случалось хлеба, я все равно останавливался возле них, дружелюбно похлопывал по спине, по шее, подбадривал ласковым словом, трепал по теплым бархатным губам и потом долго, чуть не весь день, ощущал на своей ладони ни с чем не сравнимый конский душок.

Самые сложные, самые разноречивые чувства вызывали у меня эти лошади.

Они волновали, радовали мое крестьянское сердце, придавали пустынному лугу с редкими кочками и кустиками ивняка свою особую — лошадиную — красоту, и я мог не минутами, а часами смотреть на этих добрых и умных животных, вслушиваться в их однообразное похрустывание, нередка прерываемое то недовольным пофыркиванием, то коротким всхрапом — пыльная или несъедобная травка попалась.

Но чаще всего лошади вызывали у меня чувство жалости и даже какой-то непонятной вины перед ними. Конюх Миколка, вечно пьяный, иногда и день и ночь не заявлялся к ним, и вокруг кола не то что трава — дернина была изгрызена и выбита дочерна. Они постоянно томились, умирали от жажды, их донимал гнус, а в затишные вечера серым облаком, тучей клубился над ними комар и мошкара.

В общем, что говорить, — нелегко жилось беднягам. И потому-то я как мог пытался скрасить, облегчить их долю. Да и не только я. Редкая старушонка, редкая баба, оказавшись на лугу, проходила мимо безучастно.

На этот раз я не шел — бежал к лошадям, ибо кого же я увидел сегодня среди них? Свою любимицу Клару, или Рыжуху, как я называл ее запросто, по-бывалошному, по обычаю тех времен, когда еще не было ни Громов, ни Идей, ни Побед, ни Ударников, ни Звезд, а были Карьки и Карюхи, Воронки и Воронухи, Гнедки и Гнедухи — обычные лошади с обычными лошадиными именами[1].

Рыжуха была тех же ста́тей и тех же кровей, что и остальные кобылы и мерины. Из породы так называемых ме́зенок, лошадок некрупных, неказистых, но очень выносливых и неприхотливых, хорошо приспособленных к тяжелым условиям Севера. И доставалось Рыжухе не меньше, чем ее подругам и товарищам. В четыре-пять лет у нее уже была сбита спина под седелкой, заметно отвисло брюхо и даже вены начинали пухнуть.

[1] Автор пишет о конце 30-х годов, когда основной рабочей силой на селе стал уже не конь, а трактор и о лошадях стали меньше заботиться.

И все-таки Рыжуха выгодно выделялась среди своих сородичей.

На некоторых из них просто мочи не было смотреть. Какие-то неряшливые, опустившиеся, с невылинялой, клочкастой шкурой, с гноящимися глазами, с какой-то тупой покорностью и обреченностью во взгляде, во всей понурой, сгорбленной фигуре.

А Рыжуха — нет. Рыжуха была кобылка чистая, да к тому же еще сохранила свой веселый, неунывающий характер, нервность молодости. Обычно, завидев меня, спускающегося с угора, она вся подбиралась, вытягивалась в струнку, подавала свой звонкий голос, а иногда широко, насколько позволяла веревка, обегала вокруг кола, то есть совершала, как я называл это, свой приветственный круг радости.

Сегодня Рыжуха при моем приближении не выказала ни малейшего воодушевления. Стояла возле кола неподвижно, окаменело, истово, как умеют стоять только лошади, и ничем, решительно ничем не отличалась от остальных кобыл и коней.

«Да что с ней? — с тревогой подумал я. — Больна? Забыла меня за это время?» (Рыжуха две недели была на дальнем сенокосе.)

Я на ходу стал отламывать от буханки большой кусок — с этого, с подкормки, началась наша дружба, но тут кобыла и вовсе озадачила меня: она отвернула голову в сторону.

— Рыжуха, Рыжуха... Да это же я... я...

Я схватил ее за густую с проседью челку, которую сам же и подстриг недели три назад — напрочь забивала глаза, — притянул к себе. И что же я увидел? Слезы. Большие, с добрую фасолину, лошадиные слезы.

— Рыжуха, Рыжуха, да что с тобой?

Рыжуха молча продолжала плакать.

— Ну, хорошо, у тебя горе, у тебя беда. Но ты можешь сказать, в чем дело?

— У нас тут спор один был...

— У кого — у нас?

— У нас, у лошадей.

— У вас спор? — удивился я. — О чем?

— О лошадиной жизни. Я им сказала, что были времена, когда нас, лошадей, жалели и берегли пуще всего на свете, а они подняли меня на смех, стали издеваться надо мной... — и тут Рыжуха опять расплакалась.

Я насилу успокоил ее. И вот что в конце концов рассказала она мне.

На дальнем покосе, с которого только что вернулась Рыжуха, она познакомилась с одной старой кобылой, с которой на пару ходила в конной косилке. И вот эта старая кобыла, когда им становилось совсем невмоготу (а работа там была каторжная, на износ), начинала подбадривать ее своими песнями.

— Я в жизни ничего подобного не слыхала, — говорила Рыжуха. — Из этих песен я узнала, что были времена, когда нас, лошадей, называли кормильцами, холили и ласкали, украшали лентами. И когда я слушала эти песни, я забывала про жару, про оводов, про удары ременки, которой то и дело лупил нас злой мужик. И мне легче, ей-богу, легче было тащить тяжелую косилку. Я спрашивала Забаву, — так звали старую кобылу, — не утешает ли она меня? Не сама ли она придумала все эти красивые песни про лошадиное беспечальное житье? Но она меня уверяла, что все это правда и что эти песни певала ей еще мать. Певала, когда она была сосунком. А мать их слышала от своей матери. И так эти песни про счастливые лошадиные времена из поколения в поколение передавались в ихнем роду.

— И вот, — заключила свой рассказ Рыжуха, — сегодня утром, как только нас вывели на луг, я начала петь песни старой кобылы своим товаркам и товарищам, а они закричали в один голос: «Вранье все это, брехня! Замолчи! Не растравляй нам душу. И так тошно».

Рыжуха с надеждой, с мольбой подняла ко мне свои огромные, все еще мокрые, печальные глаза, в фиолетовой глубине которых я вдруг увидел себя — маленького, крохотного человечка.

— Скажите мне... Вы человек, вы все знаете, вы из тех, кто всю жизнь командует нами... Скажите, были такие времена, когда нам, лошадям, жилось хорошо? Не соврала мне старая кобыла? Не обманула?

Я не выдержал прямого, вопрошающего взгляда Рыжухи. Я отвел глаза в сторону, и тут мне показалось, что отовсюду, со всех сторон, на меня смотрят большие и пытливые лошадиные глаза. Неужели то, о чем спрашивала меня Рыжуха, занимало и других лошадей? Во всяком случае, обычного хруста, который всегда слышится на лугу, не было.

Не знаю, сколько продолжалась для меня эта молчаливая пытка на зеленой луговине под горой, — может, минуту, может, десять минут, может, час, — но я взмок с головы до ног.

Все, все правильно говорила старая кобыла, ничего не соврала. Были, были такие времена, и были еще недавно, на моей памяти, когда лошадью дышали и жили, когда ей скармливали самый лакомый кусок, а то и последнюю краюху хлеба — мы-то как-нибудь выдюжим, мы-то и с голодным брюхом промаемся до утра. Нам не привыкать. А что делалось по вечерам, когда наработавшаяся за день лошадка входила в свой заулок! Вся семья, от мала до велика, выбегала встречать ее, и сколько же ласковых, сколько благодарных слов выслушивала она, с какой любовью распрягали ее, выхаживали, водили на водопой, скребли, чистили! А сколько раз за ночь поднимались хозяева, чтобы проведать свое сокровище!

Да, да, сокровище. Главная опора и надежда всей крестьянской жизни, потому как без лошади — никуда: ни в поле выехать, ни в лес. Да и не погулять как следует.

Полвека прожил я на белом свете и чудес, как говорится, повидал немало — и своих и заморских, ан нет, русские гулянья на лошадях о Масленице[1] сравнить не с чем.

Все преображалось как в сказке. Преображались мужики и парни — чертом выгибались на легких расписных санках с железными подрезами, — преображались лошади. Эх, гулюшки, эх, родимые! Не подкачайте! Потешьте сердце молодецкое. Раздуйте метель-огонь на всю улицу!

И лошади раздували. Радугами плясали в зимнем воздухе цветастые, узорчатые дуги, июльский жар несло от

[1] *Ма́сленица* — старинный славянский праздник проводов зимы, во время которого пекут блины и устраивают увеселения.

медных начищенных сбруй, и колокольцы, колокольцы — услада русской души...

Первая игрушка крестьянского сына — деревянный конь. Конь смотрел на ребенка с крыши родного, отцовского дома, про коня-богатыря, про сивку-бурку пела и рассказывала мать, конем украшал он, подросши, прялку для своей суженой[1], коню молился... И конской подковой — знаком долгожданного мужицкого счастья — встречало тебя почти каждое крыльцо. Все — конь, все — от коня: вся жизнь крестьянская с рождения до смерти...

Ну и что же удивительного, что из-за коня, из-за кобылы вскипали все главные страсти в первые колхозные годы!

У конюшни толкались, митинговали с утра до ночи — так выясняли свои отношения. Сбил у воронка́ холку, не напоил Гнедуху вовремя, навалил слишком большой воз, слишком быстро гнал Чалого, и вот уж крик, вот уж кулаком в рыло заехали.

Э-э, да что толковать о хозяевах, о мужиках, которые всю жизнь кормились от лошади!

Я, отрезанный ломоть, студент университета, еще накануне войны не мог спокойно пройти мимо своего Карька, который когда-то как солнце освещал всю жизнь нашей многодетной, рано осиротевшей семьи. И даже война не вытравила во мне память о родном коне.

Помню, в сорок седьмом вернулся в деревню. Голод, разор, запустение, каждый дом рыдает по невернувшимся с войны. А стоило мне увидеть первую лошадь, и на мысли пришел Карько.

— Нету вашего Карька, — ответил мне конюх-старик. — На лесном фронте Богу душу отдал. Ты думаешь, только люди в эту войну воевали? Нет, лошади тоже победу ковали, да еще как...

В каждом из нас, должно быть, живет пушкинский вещий Олег, и года три назад, когда мне довелось быть в Россохах, где когда-то в войну шла заготовка леса, я попытался разыскать останки своего коня.

Лесопункта давно уже не было. Старые бараки, кое-как слепленные когда-то стариками да мальчишками, развали-

[1] *Су́женая* — в народной поэзии — невеста.

лись, заросли крапивой, а на месте катища, там где земля была щедро удобрена перегнившей щепой и корой, вымахали густые заросли розового иван-чая.

Я побродил возле этих зарослей, в двух-трех местах даже проложил через них тропу, но останков никаких не нашел...

...Рыжуха все так же, с надеждой, с мольбой смотрела на меня. И смотрели другие лошади. И казалось, все пространство на лугу, под горой — сплошь одни лошадиные глаза. Все, и живые, на привязи, и те, которых давно уже не было, — все лошадиное царство, живое и мертвое, вопрошало сейчас меня.

А я вдруг напустил на себя бесшабашную удаль и воскликнул:

— Ну, ну, хватит киснуть! Хватит забивать себе голову всякой ерундой! Давайте лучше грызть хлеб, пока грызется.

И вслед за тем, избегая глядеть в глаза Рыжухе, я торопливо бросил на луг, напротив ее вытянутой морды, давно приготовленный кусок хлеба, потом быстро оделил хлебом других лошадей и с той же разудалой бесшабашностью театрально вскинул руку:

— Покель! В энтом деле без банки нам все равно не разобраться... — И, глубоко сунув руки в карманы модных джинсов, быстрой, развязной походкой двинулся к реке.

А что я мог ответить этим бедолагам? Сказать, что старая кобыла ничего не выдумала, что были у лошадей счастливые времена?

Я пересек пересохшее озеро, вышел на старую, сохранившуюся еще от доколхозных времен межу, которая всегда радовала меня своим буйным разнотравьем.

Но я ничего не видел сейчас.

Все мое существо, весь мой слух были обращены назад, к лошадям. Я ждал, каждым своим нервом ждал, когда же начнут они грызть хлеб, с обычным лошадиным хрустом и хрумканьем стричь траву на лугу.

Ни малейшего звука не доносилось оттуда.

И тогда я вдруг стал понимать, что я совершил что-то непоправимое, страшное, что я обманул Рыжуху, обманул всех этих несчастных кляч и доходяг и что никогда, никогда уже у меня с Рыжухой не будет той искренности и того доверия, которые были до сих пор.

И тоска, тяжелая лошадиная тоска навалилась на меня, пригнула к земле. И вскоре я уже сам казался себе каким-то нелепым, отжившим существом. Существом из той же лошадиной породы...

Вопросы

1. Почему лошади вызывали такое острое чувство жалости у автора? Какую роль в повествовании играет описание лошади?
2. Как объяснить название рассказа и слова: «В каждом из нас, должно быть, живет пушкинский вещий Олег...»? В чем рассказчик обманул Рыжуху?
3. Какие раздумья вызвал у вас рассказ? В какой мере он обращен ко всем нам?

Совершенствуйте свою речь

1. Как вы понимаете словосочетания: «самые сложные, самые разноречивые чувства», «я называл ее запросто, по-бывалошному, по обычаю тех времен, выносливых и неприхотливых», «в затишные вечера», «неказистый», «мочи не было смотреть», «на износ», «невмоготу», «услада русской души»? Подготовьте пересказ, включив в него эти словосочетания.
2. Какими словами заканчивается рассказ? Почему на рассказчика навалилась «лошадиная тоска»? Что хотел сказать автор этой концовкой?



Евгений Иванович НОСОВ

1925—2002

Евгений Иванович Носов принадлежит к поколению, которое пришло в литературу опаленное огнем войны.

И. Баскевич

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

Я родился студеным январским вечером 1925 года в тускло освещенной избе своего деда. Село Толмачево раскинулось вдоль речки Сейм, в водах которой по вечерам отражались огни недалекого города Курска, высоко вознесшегося своими холмами и соборами. Курск знаменит еще с давних веков. «А мои куряне — хоробрые воины, — говаривал Всеволод своему брату князю Игорю в эпической поэме „Слово о полку Игореве“, — под шеломами взлелеяны, с конца копья вскормлены». Далее по реке Сейм стоят древние города-содруги Рыльск и Путивль. Все они старше Москвы и рублены еще Киевской Русью.

А из другого деревенского окна виделись мне просторный луг, весной заливаемый половодьем, и таинственный лес за ним, и еще более далекие паровозные дымы за лесом, всегда манившие меня в дорогу, которой и оказалась потом литература — главная стезя моей жизни.

За исключением Октябрьской революции, гражданской войны и первых послевоенных лет разрухи, на моих глазах проходили все остальные этапы нашей истории. Детство всегда впечатлительно, и я до сих пор отчетливо помню,

как в Толмачево нагрянула коллективизация, как шумели сходки, горюнились забегавшие к нам бабы-соседки и как все ходил и ходил по двору озабоченный дед, заглядывал то в амбар, то в стойло к лошади, которую вскоре все-таки отвел на общее подворье вместе с телегой и упряжью. На рубеже тридцатых годов отец с матерью поступили на Курский машиностроительный завод, и я стал городским жителем. Отец освоил дело котельщика, клепал котлы и железные мосты первых пятилеток, а мать стала ситопробойщицей, и я ее помню уже без деревенской косы, коротко подстриженной, в красной сатиновой косынке. Об этом периоде моей жизни можно прочитать в повести «Не имей десять рублей», а также в рассказах «Мост» и «Дом за триумфальной аркой».

Жилось тогда трудно, особенно в 1932—1933 годах, когда в стране были введены карточки и мы, рабочая детвора, подпитывали себя едва завязавшимися яблоками, цветами акации, стручками вики, которую утаскивали у лошадей на городском базаре. В 1932 году я пошел в школу, где нас, малышей, подкармливали жиденьким кулешом и давали по ломтику грубого черного хлеба. Но мы в общем-то не особенно унывали. Став постарше, бегали в библиотеку за «Томом Сойером» и «Островом сокровищ», клеили планеры и коробчатые змеи, много спорили и мечтали.

А между тем исподволь подкрадывалась Вторая мировая война. Я учился уже в пятом классе, когда впервые увидел смуглых черноглазых ребятишек, прибывших к нам в страну из сражающейся республиканской Испании. В 1939 году война полыхала уже в самом центре Европы, а в сорок первом ее огненный вал обрушился и на наши рубежи.

На фронте мне выпала тяжкая доля противотанкового артиллериста. Это постоянная дуэль с танками — кто кого... Или ты его, или, если промазал, он — тебя... Уже в конце войны, в Восточной Пруссии, немецкий «фердинанд» все-таки поймал наше орудие в прицел, и я полгода провалялся в госпитале в гипсовом панцире.

К сентябрю 1945 года врачи кое-как заштопали меня, и я вернулся в школу, чтобы продолжить прерванную уче-

бу. На занятия я ходил в гимнастерке (другой одежды не было), при орденах и медалях. Поначалу меня принимали за нового учителя, и школьники почтительно здоровались со мной — ведь я был старше многих из них на целую войну.

Закончив школу, я уехал в Казахстан, где много лет, так же как потом в Курске, работал в газете. Корреспондентские поездки позволили накопить обширные жизненные впечатления, которые безотказно питали и по сей день питают мое писательское вдохновение. Много дает мне и постоянное общение с природой: я заядлый рыбак, любитель ночевок у костра, наперечет знаю почти все курские травы. Моей неизменной темой по-прежнему остается жизнь простого деревенского человека, его нравственные истоки, отношение к земле, природе и ко всему современному бытию.

Вопрос и задание

Что питает «писательское вдохновение» и что является «неизменной темой» писателя Е. И. Носова? Расскажите об этом.

Кукла[1]

Теперь уже редко бываю в тех местах: занесло, затянуло, заилило, забило песком последние сеймские омута.

Вот, говорят, раньше реки были глубже...

Зачем же далеко в историю забираться? В не так далекое время любил я наведываться под Липино, верстах в двадцати пяти от дома. В самый раз против древнего обезглавленного кургана, над которым в знойные дни завсегда парили коршуны, была одна заветная яма. В этом месте река, упершись в несокрушимую девонскую глину, делает поворот с таким норовом, что начинает крутить целиком весь омут, создавая обратнокруговое течение. Часами здесь кружат, никак не могут вырваться на вольную воду щепа, водоросли, торчащие горлышком вверх бутылки, обломки вездесущего пенопласта, и денно и нощно урчат, булькают и всхлипывают страшноватые воронки, которых избегают даже гуси. Ну а ночью у омута и вовсе не по себе, когда вдруг гулко, тяжко обрушится подмытый берег или полоснет по воде плоским хвостом, будто доской, поднявшийся из ямы матерый хозяин-сом.

Как-то застал я перевозчика Акимыча возле своего шалаша за тайным рыбацким делом. Приладив на носу очки, он сосредоточенно выдирал золотистый корд из обрезка приводного ремня — замышлял перемет. И все сокрушался: нет у него подходящих крючков.

Я порылся в своих припасах, отобрал самых лихих, гнутых из вороненой двухмиллиметровой проволоки, которые когда-то приобрел просто так, для экзотики, и высыпал их в Акимычеву фуражку. Тот взял один непослушными, задубелыми пальцами, повертел перед очками и насмешливо посмотрел на меня, сощурив один глаз:

— А я думал и вправду крюк. Придется в кузне заказывать. А эти убери со смеху.

Не знаю, заловил ли Акимыч хозяина Липиной ямы, потому что потом по разным причинам образовался у меня перерыв, не стал я ездить в те места. Лишь спустя несколько лет довелось, наконец, проведать старые свои сижи.

Поехал и не узнал реки.

Русло сузилось, затравенело, чистые пески на излучинах затянуло дурнишником и жестким белокопытником, объявилось много незнакомых мелей и кос. Не стало приглубых тягунов-быстрин, где прежде на вечерней зорьке буравили речную гладь литые, забронзовелые язи. Бывало, готовишь снасть для проводки, а пальцы никак не могут попасть лесой в колечко — такой охватывает азартный озноб при виде крутых, беззвучно расходящихся кругов... Ныне все это язевое приволье ощетинилось кугой и пиками стрелолиста, а всюду, где пока свободно от трав, прет черная донная тина, раздобревшая от избытка удобрений, сносимых дождями с полей.

«Ну уж, — думаю, — с Липиной ямой ничего не случилось. Что может статься с такой пучиной!» Подхожу и не верю глазам: там, где когда-то страшно крутило и водоворотило, горбом выпер грязный серый меляк, похожий на

[1] В первых публикациях рассказ назывался «Акимыч», в более поздних — «Кукла».

большую околевшую рыбину, и на том меляке — старый гусак. Стоял он этак небрежно, на одной лапе, охорашиваясь, клювом изгоняя блох из-под оттопыренного крыла. И невдамек глупому, что еще недавно под ним было шесть-семь метров черной кипучей глубины, которую он же сам, возглавляя выводок, боязливо оплывал сторонкой.

Глядя на зарастающую реку, едва сочившуюся присмиревшей водицей, Акимыч горестно отмахнулся:

— И даже удочек не разматывай! Не трави душу. Не стало делов, Иваныч, не стало!

Вскоре не стало на Сейме и самого Акимыча, избыл его старый речной перевоз...

На берегу, в тростниковом шалаше, мне не раз доводилось коротать летние ночи. Тогда же выяснилось, что мы с Акимычем, оказывается, воевали в одной и той же горбатовской третьей армии, участвовали в «Багратионе», вместе ликвидировали Бобруйский, а затем и Минский котлы, брали одни и те же белорусские и польские города. И даже выбыли из войны в одном и том же месяце. Правда, госпиталя нам выпали разные: я попал в Серпухов, а он — в Углич.

Ранило Акимыча бескровно, но тяжело: дальнобойным фугасом завалило в окопе и контузило так, что и теперь, спустя десятилетия, разволновавшись, он внезапно утрачивал дар речи, язык его будто намертво заклинивало, и Акимыч, побледнев, умолкал, мучительно, вытаращенно глядя на собеседника и беспомощно вытянув губы трубочкой. Так длилось несколько минут, после чего он глубоко, шумно вздыхал, поднимая при этом острые, худые плечи, и холодный пот осыпал его измученное немотой и окаменелостью лицо.

«Уж не помер ли?» — нехорошо сжалось во мне, когда я набрел на обгорелые останки Акимычева шалаша.

Ан-нет! Прошлой осенью иду по селу, мимо новенькой белокирпичной школы, так ладно занявшей зеленый взгорок над Сеймом, гляжу, а навстречу — Акимыч! Торопко гукает кирзачами, картузик, телогреечка внапашку, на плече — лопата.

— Здорово, друг сердечный! — раскинул я руки, преграждая ему путь.

Акимыч, бледный, с мучительно одеревеневшими губами, казалось, не признал меня вовсе. Видно, его что-то вывело из себя и, как всегда в таких случаях, намертво заклинило.

— Ты куда пропал-то?! Не видно на реке.

Акимыч вытянул губы трубочкой, силясь что-то сказать.

— Гляжу, шалаш твой сожгли.

Вместо ответа он повертел указательным пальцем у виска, мол, на это большого ума не надо.

— Так ты где сейчас, не пойму?

Все еще не приходя в себя, Акимыч кивнул головой в сторону школы.

— Ясно теперь. Сторожишь, садовничаешь. А с лопатой куда?

— А-а? — вырвалось у него, и он досадливо сунул плечом, порываясь идти.

Мы пошли мимо школьной ограды по дороге, обсаженной старыми ивами, уже охваченными осенней позолотой. В природе было еще солнечно, тепло и даже празднично, как иногда бывает в начале погожего октября, когда доцветают последние звездочки цикория и еще шарят по запоздалым шапкам татарника черно-бархатные шмели. А воздух уже остер и крепок и дали ясны и открыты до беспредельности.

Прямо от школьной ограды, вернее, от проходящей мимо нее дороги, начиналась речная луговина, еще по-летнему зеленая, с белыми вкраплениями тысячелистника, гусиных перьев и каких-то луговых грибов. И только вблизи придорожных ив луг был усыпан палым листом, узким и длинным, похожим на нашу сеймскую рыбку-верховку. А из-за ограды тянуло влажной перекопанной землей и хмельной яблочной прелью. Где-то там, за молодыми яблонями, должно быть, на спортивной площадке, раздавались хлесткие шлепки по волейбольному мячу, иногда сопровождаемые всплесками торжествующих, одобрительных ребячьих вскриков, и эти молодые голоса под безоблачным сельским полднем тоже создавали ощущение праздничности и радости бытия.

Все это время Акимыч шел впереди меня молча и споро, лишь когда минули угол ограды, он остановился и сдавленно обронил:

— Вот, гляди...

В грязном придорожном кювете валялась кукла. Она лежала навзничь, раскинув руки и ноги. Большая и все еще миловидная лицом, с легкой, едва обозначенной улыбкой на припухлых по-детски губах. Но светлые шелковистые волосы на голове были местами обожжены, глаза выдавлены, а на месте носа зияла дыра, прожженная, должно быть, сигаретой. Кто-то сорвал с нее платье, а голубенькие трусики сдернул до самых башмаков, и то место, которое прежде закрывалось ими, тоже было истыкано сигаретой.

— Это чья же работа?

— Кто ж их знает... — не сразу ответил Акимыч, все еще сокрушенно глядя на куклу, над которой кто-то так цинично и жестоко глумился. — Нынче трудно на кого думать. Многие притерпелись к худу и не видят, как сами худое творят. А от них дети того набираются. С куклой это не первый случай. Езжу я и в район, и в область и вижу: то тут, то там — под забором ли, в мусорной куче — выброшенные куклы валяются. Которые целиком прямо, в платье, с бантом в волосах, а бывает, — без головы или без обеих ног... Так мне нехорошо видеть это! Аж сердце комом сожмется... Может, со мной с войны такое. На всю жизнь нагляделся я человечины... Вроде и понимаешь: кукла. Да ведь облик-то человеческий. Иную так сделают, что и от живого дитя не отличишь. И плачет по-людски. И когда это подобие валяется растерзанное у дороги — не могу видеть. Колотит меня всего. А люди идут мимо — каждый по своим делам, — и ничего... Проходят парочки, за руки держатся, про любовь говорят, о детках мечтают. Везут малышей в колясках — бровью не поведут. Детишки бегают — привыкают к такому святотатству. Вот и тут сколько мимо прошло учеников! Утром — в школу, вечером — из школы. А главное — учителя: они ведь тоже мимо проходят. Вот чего не понимаю. Как же так?! Чему же ты научишь, какой красоте, какому добру, если ты слеп, душа твоя глуха!.. Эх!..



Акимыч вдруг побледнел, лицо напряглось той страшной его окаменелостью, а губы сами собой вытянулись трубочкой, будто в них застряло и застыло что-то невысказанное.

Я уже знал, что Акимыча опять «заклинило» и заговорит он теперь нескоро.

Он сутуло, согбенно перешагнул кювет и там, на пустыре, за поворотом школьной ограды, возле большого лопуха с листьями, похожими на слоновые уши, принялся копать яму, предварительно наметив лопатой ее продолговатые контуры. Ростом кукла была не более метра, но Акимыч рыл старательно и глубоко, как настоящую могилку, зарывшись по самый пояс. Обровняв стенку, он все так же молча и отрешенно сходил к стожку на выгоне, принес охапку сена и выстлал им днище ямы. Потом поправил на

кукле трусишки, сложил ее руки вдоль туловища и так опустил в сырую глубину ямы. Сверху прикрыл ее остатками сена и лишь после этого снова взялся за лопату.

И вдруг он шумно вздохнул, будто вынырнул из какой-то глубины, и проговорил с болью:

— Всего не закопать...

Вопросы и задание

1. С какой целью автор так подробно рассказывает о реке, о рыбалке, цветах, травах? Что ужасает его, о каких бедах он говорит в начале повествования?
2. Этот рассказ был сначала назван «Акимыч», затем «Кукла». Как вы думаете, какое название лучше? Почему таким страшным показалось герою отношение взрослых и детей к куклам? Почему автор постоянно вспоминает о военном времени и есть ли тут связь с событиями, возмутившими Акимыча?
3. Как вы воспринимаете красоту окружающего вас мира? Может ли вас взволновать цветок, красота осеннего леса? Делаете ли вы что-либо, чтобы природа вашего города, села стала краше?
4. Сравните рассказ Е. Носова «Кукла» и стихотворение К. Случевского.

Кукла

Куклу бросил ребенок. Кукла быстро свалилась,
Стукнулась глухо о землю и навзничь упала...
Бедная кукла! Ты так неподвижно лежала
Скорбной фигуркой своей, так покорно сломилась,
Руки раскинула, ясные очи закрыла...
На человека ты, кукла, вполне походила!

Живое пламя

Тетя Оля заглянула в мою комнату, опять застала за бумагами и, повысив голос, повелительно сказала:

— Будет писать-то! Поди проветрись, клумбу помоги разделать.

Тетя Оля достала из чулана берестяной короб. Пока я с удовольствием разминал спину, взбивая граблями влажную землю, она, присев на завалинку[1] и высыпав себе на колени пакетики и узелки с цветочными семенами, разложила их по сортам.

[1] *Зава́линка* — земляная насыпь вдоль наружных стен дома.

— Ольга Петровна, а что это, — замечаю я, — не сеете вы на клумбах маков?

— Ну, какой из мака цвет! — убежденно ответила она. — Это овощ. Его на грядках вместе с луком и огурцами сеют.

— Что вы! — рассмеялся я. — Еще в какой-то старинной песенке поется:

А лоб у нее, точно мрамор, бел.
А щеки горят, будто маков цвет.

— Цветом он всего два дня бывает, — упорствовала Ольга Петровна. — Для клумбы это никак не подходит: пыхнул и сразу сгорел. А потом все лето торчит эта самая колотушка, только вид портит.

Но я все-таки сыпанул тайком щепотку мака на самую середину клумбы. Через несколько дней она зазеленела.

— Ты маков посеял? — подступилась ко мне тетя Оля. — Ах, озорник ты этакий! Так уж и быть, тройку оставила, тебя пожалела. А остальные все выполола.

Неожиданно я уехал по делам и вернулся только через две недели. После жаркой, утомительной дороги было приятно войти в тихий старенький домик тети Оли. От свежевымытого пола тянуло прохладой. Разросшийся под окном жасминовый куст ронял на письменный стол кружевную тень.

— Квасу налить? — предложила она, сочувственно оглядев меня, потного и усталого. — Алешка очень любил квас. Бывало, сам по бутылкам разливал и запечатывал.

Когда я снимал эту комнатку, Ольга Петровна, подняв глаза на портрет юноши в летной форме, что висит над письменным столом, спросила:

— Не помешает?

— Что вы.

— Это мой сын Алексей. И комната была его. Ну, ты располагайся, живи на здоровье.

Подавая мне тяжелую медную кружку с квасом, тетя Оля сказала:

— А маки твои поднялись, уже бутоны выбросили.

Я пошел посмотреть на цветы. Клумба стояла неузнаваемой. По самому краю расстилался коврик, который своим густым покровом с разбросанными по нему цветами очень напоминал настоящий ковер. Потом клумбу опоясывала лента маттиол — скромных ночных цветков, привлекающих к себе не яркостью, а нежно-горьковатым ароматом, похожим на запах ванили. Пестрели куртинки желто-фиолетовых анютиных глазок, раскачивались на тонких ножках пурпурно-бархатные шляпки парижских красавиц. Было много и других знакомых и незнакомых цветов. А в центре клумбы, над всей этой цветочной пестротой, поднялись мои маки, выбросив навстречу солнцу три тугих, тяжелых бутона.

Распустились они на другой день.

Тетя Оля вышла поливать клумбу, но тотчас вернулась, громыхая пустой лейкой.

— Ну, иди смотри, зацвели.

Издали маки походили на зажженные факелы с живыми, весело полыхающими на ветру языками пламени. Легкий ветер чуть колыхал, а солнце пронизывало светом полупрозрачные алые лепестки, отчего маки то вспыхивали трепетно-ярким огнем, то наливались густым багрянцем. Казалось, что, стоит только прикоснуться — сразу опалят!

Маки слепили своей озорной, обжигающей яркостью, и рядом с ними померкли, потускнели все эти парижские красавицы, львиные зевы и прочая цветочная аристократия.

Два дня буйно пламенели маки. А на исходе вторых суток вдруг осыпались и погасли. И сразу на пышной клумбе без них стало пусто.

Я поднял с земли еще совсем свежий, в капельках росы, лепесток и расправил его на ладони.

— Вот и все, — сказал я громко, с чувством еще не остывшего восхищения.

— Да, сгорел... — вздохнула, словно по живому существу, тетя Оля. — А я как-то раньше без внимания к маку-то этому. Короткая у него жизнь. Зато без оглядки, в полную силу прожита. И у людей так бывает...

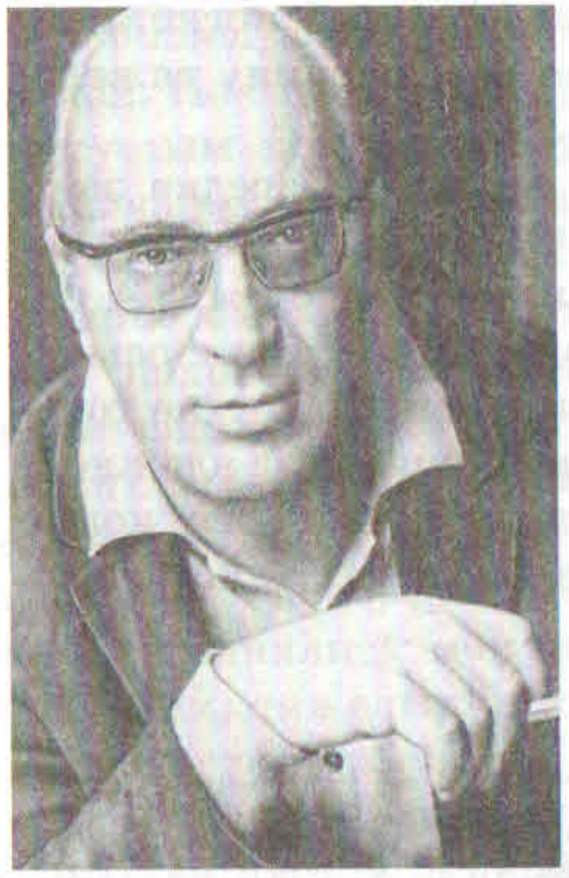
Тетя Оля, как-то сгорбившись, вдруг заторопилась в дом.

Мне уже рассказывали о ее сыне. Алексей погиб, спикировав на своем крошечном «ястребке» на спину тяжелого фашистского бомбардировщика...

Я теперь живу в другом конце города и изредка заезжаю к тете Оле. Недавно я снова побывал у нее. Мы сидели за летним столиком, пили чай, делились новостями. А рядом на клумбе полыхал большой ковер маков. Одни осыпались, роняя на землю лепестки, точно искры, другие только раскрывали свои огненные языки. А снизу, из влажной, полной жизненной силы земли, подымались все новые и новые туго свернутые бутоны, чтобы не дать погаснуть живому огню.

Вопросы и задание

1. Что имела в виду тетя Оля, когда сказала: «Да, сгорел... Короткая у него жизнь. Зато без оглядки, в полную силу прожита. И у людей так бывает...»?
2. Как вы понимаете конец рассказа? Почему тетя Оля отдала предпочтение макам? Какие литературные приемы использует автор, чтобы показать красоту короткой, но яркой жизни маков?
3. О чем этот рассказ Е. И. Носова и как можно объяснить его название?
4. Что волнует писателя? Можно ли сказать, что это проблемы и нашего времени? Подготовьте развернутый ответ.



Юрий Павлович КАЗАКОВ

1927—1982

Юрий Казаков — талант очень большой, таящий в себе возможности неограниченные. Представленные им рассказы поражают силой эмоций, законченностью и стройностью, это — произведения большой литературы...

В. Ф. Панова

Родился я в Москве в 1927 году в семье рабочего. Отец и мать мои — бывшие крестьяне, выходцы из Смоленской губернии. В роду нашем, насколько мне известно, не было ни одного образованного человека, хотя талантливы были многие. Таким образом, я — первый человек в нашей родне, занимающийся литературным трудом.

Писателем я стал поздно. Перед тем как начать писать, я долго увлекался музыкой. В 1942 году в школе в одном со мной классе учился музыкант. Одновременно он посещал и музыкальную школу, где занимался в классе виолончели. Его одержимость музыкой в значительной мере повлияла и на меня, а мои природные музыкальные данные позволили и мне в скором времени стать молодым музыкантом. Сначала я стал играть на виолончели, но так как заниматься музыкой я начал довольно поздно (с 15 лет) и пальцы мои были уже не столь гибки, то я скоро понял, что виртуозом-виолончелистом мне не стать, и перешел тогда на контрабас, потому что контрабас вообще менее «технический» инструмент, и тут я мог рассчитывать на успех.

Я не помню сейчас, почему меня в одно прекрасное время потянуло вдруг к литературе. В свое время я окончил музыкальное училище в Москве, года три играл в симфонических и джазовых оркестрах, но уже где-то между 1953 и 1954 годами стал все чаще подумывать о себе как о будущем писателе. Скорее всего, это случилось потому, что я, как, наверное, и каждый молодой человек, мечтал тогда о славе, об известности и т. п., а моя судьба в оркестрах, конечно, никакой особенно славы не обещала. И вот я, помню, стал тяготиться своей безвестностью и стал попеременно мечтать о двух профессиях — о профессии дирижера симфонического оркестра и о профессии писателя или, на худой конец, журналиста. Я страстно хотел увидеть свою фамилию напечатанной в афише, в газете или в журнале.

Тяга к писательству все-таки пересилила, я стал более внимательно читать очерки и рассказы, стараясь понять, как они сделаны. А через некоторое время стал и сам писать что-то. Не помню теперь уже, как я тогда писал, потому что не хранил своих рукописей. Но уверен, конечно, что писал я тогда и по отсутствию опыта и вкуса и по недостаточной литературной образованности — плохо. Все-таки, видимо, было что-то в моих тогдашних писаниях симпатично, потому что отношение ко мне с самого начала в редакциях было хорошее, и в 1953 году я успел напечатать несколько небольших очерков в газете «Советский спорт» и в том же году был принят в Литературный институт.

Ю. П. Казаков

ПИСАТЕЛИ И КРИТИКИ О РАССКАЗАХ Ю. П. КАЗАКОВА

Литературовед И. Кузьмичев пишет о Ю. Казакове: «Рассказы его обладают редкой способностью раскрываться всякий раз с новой, еще неизведанной стороны. Воспоминания о прочитанных его рассказах странным образом волнуют, и невольно думаешь, что ты чего-то недопонял, что-то важное ускользнуло из сознания, а ощущение красоты, какое сохранилось в сердце, тянет тебя вновь к этим уже прочитанным рассказам. Ты открываешь книгу и, вспоминая сюжет того или иного рассказа, с непостижимым интересом и любопытством зачитываешься опять эти-

ми удивительными произведениями, забывая, что тебе уже все известно. Как это удавалось Юрию Казакову — навсегда останется тайной...»

Тихое утро

Еще только-только прокричали сонные петухи, еще темно было в избе, мать не доила коровы и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка.

Он сел на постели, долго таращил глаза на голубоватые потные окошки, на смутно белеющую печь. Сладок предрассветный сон, и голова валится на подушку, и глаза слипаются, но Яшка переборол себя. Спотыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, стал бродить по избе, разыскивая старые штаны и рубаху.

Поев молока с хлебом, Яшка взял в сенях удочки и вышел на крыльцо. Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще дальше, к реке, уже ничего не было видно, и казалось, никогда не было ни ветряка на горке, ни пожарной каланчи, ни школы, ни леса на горизонте... Все исчезло, притаилось сейчас, и центром маленького замкнутого мира оказалась Яшкина изба.

Кто-то проснулся раньше Яшки, стучал возле кузницы молотком; чистые металлические звуки, прорываясь сквозь пелену тумана, долетали до большого невидимого амбара и возвращались оттуда уже ослабленными. Казалось, стучат двое: один погромче, другой потише.

Яшка соскочил с крыльца, замахнулся удочками на подвернувшегося под ноги петуха и весело затрусил к риге[1]. У риги вытащил из-под доски ржавый косарь[2] и стал рыть землю. Почти сразу же начали попадаться красные и лиловые холодные червяки. Толстые и тонкие, они одинаково проворно уходили в рыхлую землю. Но Яшка все-таки

[1] *Ри́га* — крытое строение с печью для сушки льна или хлеба в снопах; иногда ригой называют обычный сарай.

[2] *Коса́рь* — здесь: большой тяжелый нож, который делается из обломков косы и применяется обычно для щепления лучины.

успевал выхватывать их и скоро набросал почти полную банку. Подсыпав червякам свежей земли, он побежал вниз по тропинке, перевалился через плетень и задами пробрался к сараю, где на сеновале спал его новый приятель — Володя.

Яшка заложил в рот испачканные землей пальцы и свистнул. Потом сплюнул и прислушался. Было тихо.

— Володька! — позвал он. — Вставай!

Володя зашевелился на сене, долго возился и шуршал там, наконец неловко слез, наступая на незавязанные шнурки. Лицо его, измятое после сна, было бессмысленно и неподвижно, как у слепого, а в волосы набилась сенная труха, она же, видимо, попала ему и за рубашку, потому что, стоя уже внизу, рядом с Яшкой, он все дергал тонкой шеей, поводил плечами и почесывал спину.

— А не рано? — сипло спросил он, зевнул и, покачнувшись, схватился рукой за лестницу.

Яшка разозлился: он встал на целый час раньше, червяков накопал, удочки притащил... а если по правде говорить, то и встал-то он сегодня из-за этого... заморыша — хотел места рыбные ему показать, — и вот вместо благодарности и восхищения — «рано»!

— Для кого рано, а для кого и не рано! — зло ответил он и с пренебрежением осмотрел Володю с головы до ног.

Володя выглянул на улицу, лицо его оживилось, глаза заблестели, он начал торопливо зашнуровывать ботинки. Но для Яшки вся прелесть утра была уже отравлена.

— Ты что, в ботинках пойдешь? — презрительно спросил он и посмотрел на оттопыренный палец своей босой ноги. — А галоши наденешь?

Володя промолчал, покраснел и принялся за другой ботинок.

— Ну да, — меланхолично продолжал Яшка, ставя удочки к стене, — у вас там, в Москве, небось, босиком не ходют...

— Ну и что? — Володя снизу посмотрел в широкое насмешливо-злое лицо Яшки.

— Да ничего... Забежи домой — пальто возьми...

— Ну и забегу! — сквозь зубы ответил Володя и еще больше покраснел.

Яшка заскучал. Зря он связался со всем этим делом... На что уж Колька да Женька Воронковы рыбаки, а и те признают, что лучше его нет рыболова во всем колхозе. Только отведи на место да покажи — яблоками засыплют! А этот... пришел вчера, вежливый: «Пожалуйста, пожалуйста»... Дать ему по шее, что ли? Надо было связываться с этим москвичом, который, наверное, и рыбы в глаза не видал! Идет на рыбалку в ботинках!..

— А ты галстук надень, — съязвил Яшка и хрипло засмеялся. — У нас рыба обижается, когда к ней без галстука суешься.

Володя наконец справился с ботинками и, подрагивая от обиды ноздрями и глядя прямо перед собой невидящим взглядом, вышел из сарая. Он готов был отказаться от рыбалки и тут же разреветься, но он так ждал этого утра! За ним нехотя вышел Яшка, и ребята молча, не глядя друг на друга, пошли по улице. Они шли по деревне, и туман отступал перед ними, открывая все новые и новые дома, и сараи, и школу, и длинные ряды молочно-белых построек фермы... Будто скупой хозяин, он показывал все это только на минуту и потом снова плотно смыкался сзади.

Володя жестоко страдал. Он сердился на себя за грубые ответы Яшке, сердился на Яшку и казался сам себе в эту минуту неловким и жалким. Ему было стыдно своей неловкости, и, чтобы хоть как-нибудь заглушить это непонятное чувство, он думал, ожесточаясь: «Ладно, пусть... Пускай издевается. Они меня еще узнают, я не позволю им смеяться! Подумаешь, велика важность босиком идти! Воображалы какие!» Но в то же время он с откровенной завистью и даже с восхищением поглядывал на босые Яшкины ноги, на холщовую сумку для рыбы и на заплатанные, надетые специально на рыбную ловлю штаны и серую рубаху. Он завидовал и Яшкиному загару, и той особенной походке, при которой шевелятся плечи и лопатки и даже уши и которая у многих деревенских ребят считается особенным шиком. Проходили мимо колодца со старым, поросшим зеленью срубом.

— Стой! — сказал хмуро Яшка. — Попьем!

Он подошел к колодцу, загремел цепью и, вытащив тяжелую бадью с водой, жадно приник к ней. Пить ему

не хотелось, но он считал, что лучше этой воды нигде нет, и поэтому каждый раз, проходя мимо колодца, пил ее с огромным наслаждением. Вода, переливаясь через край бадьи, плескала ему на босые ноги, он поджимал их, но все пил и пил, изредка отрываясь и шумно дыша.

— На, пей! — сказал он наконец Володе, вытирая рукавом губы.

Володе тоже не хотелось пить, но, чтобы еще больше не рассердить Яшку, он послушно припал к бадье и стал тянуть воду мелкими глоточками, пока от холода у него не заломило в затылке.

— Ну, как водичка? — самодовольно осведомился Яшка, когда Володя отошел от колодца.

— Законная! — отозвался Володя и поежился.

— Небось, в Москве такой нету? — ядовито прищурился Яшка.

Володя ничего не ответил, только втянул сквозь сжатые губы воздух и примиряюще улыбнулся.

— Ты ловил ли рыбу-то? — спросил Яшка.

— Нет... Только на Москве-реке видел, как ловят, — упавшим голосом сознался Володя и робко взглянул на Яшку.

Это признание несколько смягчило Яшку, и он, пощупав банку с червями, сказал как бы между прочим:

— Вчера наш завклубом в Плещанском бочаге[1] сома видал...

У Володи заблестели глаза:

— Большой?

— А ты думал! Метра два... А может, и все три — в темноте не разобрать было. Наш завклубом аж перепугался, думал — крокодил. Не веришь?

— Врешь! — восторженно выдохнул Володя и подернул плечами; по его глазам было видно, что верит он всему безусловно.

Яшка изумился:

— Я вру? Хочешь, айда сегодня вечером ловить! Ну?

— А можно? — с надеждой спросил Володя, и уши его порозовели.

[1] *Бочáг* — глубокая яма, залитая водой, или омут в реке; бочагом называют иногда и остаток пересохшей реки.

— А чего... — Яшка сплюнул, вытер нос рукавом. — Снасть у меня есть. Лягвы, вьюнов наловим... Выползков захватим — там голавли еще водятся — и на две зари! Ночью костер запалим... Пойдешь?

Володе стало необыкновенно весело, и он только теперь почувствовал, как хорошо выйти утром из дому. Как славно и легко дышится, как хочется побежать по этой мягкой дороге, помчаться во весь дух, подпрыгивая и взвизгивая от восторга!

Что это так странно звякнуло там, сзади? Кто это вдруг, будто ударяя раз за разом по натянутой тугой струне, ясно и мелодически прокричал в лугах? Где это было с ним? А может, и не было? Но почему же тогда так знакомо это ощущение восторга и счастья?

Что это затрещало так громко в поле? Мотоцикл? Володя вопросительно посмотрел на Яшку.

— Трактор! — ответил важно Яшка.

— Трактор? Но почему же он трещит?

— Это он заводится. Скоро заведется... Слушай. Во-во... Слыхал? Загудел! Ну, теперь пойдет... Это Федя Костылев. Всю ночь пахал с фарами, чуток поспал и опять пошел...

Володя посмотрел в ту сторону, откуда слышался гул трактора, и тотчас спросил:

— Туманы у вас всегда такие?

— Не... Когда чисто, а когда — попоздней, к сентябрю поближе — глядишь, и инеем вдарит. А вообще в туман рыба берет — успевай таскать!

— А какая у вас рыба?

— Рыба-то? Рыба всякая... И караси на плесах есть, щука, ну, потом, эти... окунь, плотва, лещ... Еще линь. Знаешь линя? Как поросенок. То-олстый! Я сам первый раз поймал — рот разинул.

— А много можно поймать?

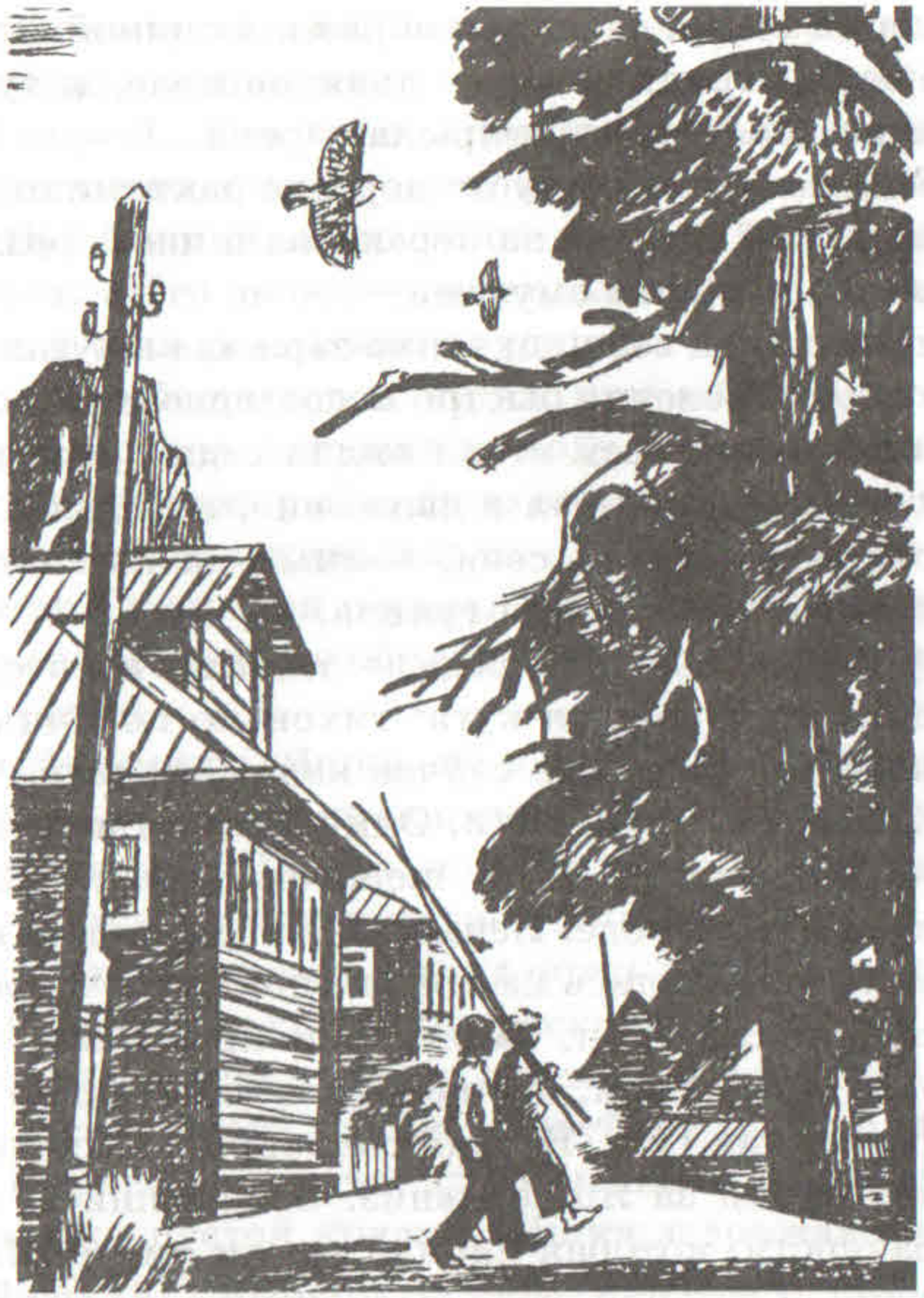
— Гм!.. Всяко бывает. Другой раз кило пять, а другой раз так, только кошке...

— Что это свистит? — Володя остановился, поднял голову.

— Это! Это ути летят... Чирочки.

— Ага! Знаю... А это что?

— Дрозды звенят. На рябину прилетели к тете Насте в огород. Ты дроздов-то ловил когда?



— Никогда не ловил.

— У Мишки Каюнёнка сетка есть... Вот погоди, пойдем ловить. Они, дрозды-то, жаднющие. По полям стаями летают, червяков из-под трактора берут. Ты сетку растяни, рябины набросай, затаись и жди. Как налетят, так сразу штук пять под сетку полезут... Потешные они; не все, правда, но есть толковые... У меня один всю зиму жил, так по-всякому умел: и как паровоз, и как пила...

Деревня скоро осталась позади. Бесконечно потянулся низкорослый овес, впереди еле проглядывала темная полоса леса.

— Долго еще идти? — спрашивал Володя.

— Скоро... Вот рядом. Пошли ходчее, — каждый раз отвечал Яшка.

Вышли на бугор, свернули вправо, лощиной спустились вниз, перешли тропкой через льняное поле, и тут совсем неожиданно перед ними открылась река.

Она была небольшая, густо поросла ракитником, ветлой по берегам, ясно звенела на перекатах и часто разливалась глубокими, мрачными омутами.

Солнце наконец взошло; тонко заржала в лугах лошадь, и как-то необыкновенно быстро посветлело, порозовело все вокруг; еще отчетливей стала видна седая роса на елках и кустах, а туман пришел в движение, поредел и стал неохотно открывать стога сена, темные на дымчатом фоне близкого теперь леса. Рыба гуляла.

В омутах раздавались редкие тяжкие всплески, вода волновалась, прибрежная кугá[1] тихонько покачивалась.

Володя готов был хоть сейчас начать ловить, но Яшка шел все дальше берегом реки. Они почти по пояс вымокли в росе, когда наконец Яшка шепотом сказал: «Здесь!» — и стал спускаться к воде. Нечаянно он оступился, влажные комья земли посыпались из-под его ног, и тотчас же, невидимые, закрякали утки, заплескали крыльями, взлетели и потянулись над рекой, пропадая в тумане. Яшка съежился и зашипел, как гусь. Володя облизнул пересохшие губы и спрыгнул вслед за Яшкой вниз. Оглядевшись, он поразился мрачности, которая царила в этом омуте. Пахло сыростью, глиной и тиной, вода была черная, ветлы в буйном росте почти закрыли все небо, и, несмотря на то что верхушки их уже порозовели от солнца, а сквозь туман было видно синее небо, здесь, у воды, было сыро, угрюмо и холодно.

— Тут, знаешь, глубина какая? — Яшка округлил глаза. — Тут и дна нету...

Володя немного отодвинулся от воды и вздрогнул, когда у противоположного берега гулко ударила рыба.

— В этом бочаге у нас никто не купается...

— Почему? — слабым голосом спросил Володя.

— Засасывает... Как ноги опустил вниз, так все... Вода как лед — и вниз утягивает. Мишка Каюнёнок говорил — там осьминоги на дне лежат.

[1] *Кугá* (или *осóка*) — болотное растение.

— Осьминоги только... в море, — неуверенно сказал Володя и еще отодвинулся.

— «В море»!.. Сам знаю! А Мишка видал! Пошел на рыбалку, идет мимо, глядит — из воды щуп, и вот по берегу шарит... Ну? Мишка аж до самой деревни бег! Хотя, наверное, он врет, я его знаю, — несколько неожиданно заключил Яшка и стал разматывать удочки.

Володя приободрился, а Яшка, уже забыв про осьминогов, нетерпеливо поглядывал на воду, и каждый раз, когда шумно всплескивала рыба, лицо его принимало напряженно-страдальческое выражение.

Размотав удочки, он передал одну из них Володе, отсыпал ему в спичечную коробку червей и глазами показал место, где ловить.

Закинув насадку, Яшка, не выпуская из рук удилища, нетерпеливо уставился на поплавок. Почти сейчас же закинул свою насадку и Володя, но зацепил при этом удилищем за ветлу. Яшка страшно взглянул на Володю, выругался шепотом, а когда перевел взгляд опять на поплавок, то вместо него увидел только легкие расходящиеся круги. Яшка тотчас с силой подсек, плавно повел рукой вправо, с наслаждением почувствовал, как в глубине упруго заходила рыба, но напряжение лески вдруг ослабло, и из воды, чмокнув, выскочил пустой крючок. Яшка задрожал от ярости.

— Ушла, а? Ушла... — пришепетывал он, надевая мокрыми руками нового червя на крючок.

Снова забросил насадку и снова, не выпуская из рук удилища, неотрывно смотрел на поплавок, ожидая поклевки. Но поклевки не было, и даже всплесков не стало слышно. Рука у Яшки устала, и он осторожно воткнул удилище в мягкий берег. Володя посмотрел на Яшку и тоже воткнул свое удилище.

Солнце, поднимаясь все выше, заглянуло наконец и в этот мрачный омут. Вода сразу ослепительно засверкала, и загорелись капли росы на листьях, на траве и на цветах. Володя, жмурясь, посмотрел на свой поплавок, потом оглянулся и неуверенно спросил:

— А что, может рыба в другой бочаг уйти?

— Ясное дело! — злобно ответил Яшка. — Та сорвалась и всех распугала. А здоровая, верно, была... Я как

дернул, так у меня руку сразу вниз потащило! Может, на кило потянуло бы.

Яшке немного стыдно было, что он упустил рыбу, но, как часто бывает, вину свою он склонен был приписать Володе. «Тоже мне рыбак! — думал он. — Сидит раскоряк кой... Один ловишь или с настоящим рыбаком — только успевай таскать...» Он хотел чем-нибудь уколоть Володю, но вдруг схватился за удочку: поплавок чуть шевельнулся. Напрягаясь, будто дерево с корнем вырывал, он медленно вытащил удочку из земли и, держа ее на весу, чуть приподнял вверх. Поплавок снова качнулся, лег набок, чуть подержался в таком положении и опять выпрямился. Яшка перевел дыхание, скосил глаза и увидел, как Володя, побледнев, медленно приподнимается. Яшке стало жарко, пот мелкими капельками выступил у него на носу и верхней губе. Поплавок опять вздрогнул, пошел в сторону, погрузился наполовину и наконец исчез, оставив после себя заметный завиток воды. Яшка, как и в прошлый раз, мягко подсек и сразу подался вперед, стараясь выпрямить удилище. Леска с дрожащим на ней поплавком вычертила кривую, Яшка привстал, перехватил удочку другой рукой и, чувствуя сильные и частые рывки, опять плавно повел руками вправо. Володя подскочил к Яшке и, блестя отчаянными, круглыми глазами, закричал тонким голосом:

— Давай, давай, дава-ай!..

— Уйди! — просипел Яшка, пятясь, часто переступая ногами.

На мгновение рыба вырвалась из воды, показала свой сверкающий широкий бок, туго ударила хвостом, подняла фонтан розовых брызг и опять ринулась в холодную глубину. Но Яшка, уперев комель удилища в живот, все пятился и кричал:

— Врешь, не уйде-ошь!..

Наконец он подвел упирающуюся рыбу к берегу, рывком выбросил ее на траву и сейчас же упал на нее животом. У Володи пересохло горло, сердце неистово колотилось.

— Что у тебя? — присев на корточки, спрашивал он. — Покажи, что у тебя?

— Ле-ещ! — с упоением выговорил Яшка.

Он осторожно вытащил из-под живота большого холодного леща, повернул к Володе свое счастливое широкое лицо, сипло засмеялся было, но улыбка его внезапно пропала, глаза испуганно уставились на что-то за спиной Володи, он съежился, ахнул:

— Удочка-то... Глянь-ка!

Володя обернулся и увидел, что его удочка, отвалив ком земли, медленно сползает в воду и что-то сильно дергает леску. Он вскочил, споткнулся и, на коленях подтянувшись к удочке, успел схватить ее. Удилище сильно согнулось. Володя повернул к Яшке круглое бледное лицо.

— Держи! — крикнул Яшка.

Но в этот момент земля под ногами у Володи зашевелилась, подалась, он потерял равновесие, выпустил удочку, нелепо, будто ловя мяч, всплеснул руками, звонко крикнул: «Ааа!» — и упал в воду.

— Дурак! — сипло закричал Яшка, злобно и страдальчески искривив лицо. — Недотепа чертова!.. Рыбу распуга-ал...

Он вскочил, схватил ком земли с травой, готовясь швырнуть в лицо Володе, как только он вынырнет. Но, взглянув в воду, он замер, и у него появилось то томительное чувство, которое испытываешь во сне, когда вялое тело не подчиняется сознанию. Володя в трех метрах от берега бил, шлепал по воде руками, запрокидывая к небу белое лицо с выпученными глазами, захлебывался и, окунаясь в воду, все силился что-то крикнуть, но в горле у него клокотало и получалось: «Уаа... Уа...»

«Тонет! — с ужасом подумал Яшка. — Утягивает!» Бросил комок земли, которым хотел ударить Володю, и, вытирая липкую руку о штаны, не отрывая глаз от него и чувствуя слабость в ногах, попятился вверх, прочь от воды. На ум ему сразу пришел рассказ Мишки о громадных осьминогах на дне бочага, в груди и животе стало холодно от ужаса: он понял, что Володю схватил осьминог... Земля сыпалась у него из-под ног, он упирался трясущимися руками и, совсем как во сне, неповоротливо и тяжело лез вверх.

Наконец, подгоняемый страшными звуками, которые издавал Володя, Яшка выскочил на луг, кинулся к дере не, но, не пробежав и десяти шагов, остановился, будт споткнувшись, чувствуя, что убежать никак нельзя. По близости не было никого, и некому было крикнуть о по мощи... Яшка судорожно шарил в карманах и в сумке в поисках хоть какой-нибудь бечевки и, не найдя ничего, бледный, стал подкрадываться к бочагу. Подойдя к обры ву, он заглянул вниз, ожидая увидеть страшное и в то же время надеясь, что все как-то обошлось, и опять увидел Во лодю. Володя теперь уже не бился, он почти весь скрылся под водой, только макушка с торчащими волосами была еще видна... Она скрывалась и опять показывалась, скры валась и показывалась... Яшка, не отрывая взгляда от этой макушки, начал расстегивать штаны, потом вскрикнул и скатился вниз. Высвободившись из штанов, он, как был, в рубашке и с сумкой через плечо, прыгнул в воду, в два взмаха подплыл к Володе, схватил его за руку.

Володя сразу же вцепился в Яшку, стал быстро-быстро перебирать руками, цепляясь за рубашку и сумку, навали ваться на него, по-прежнему выдавливая из себя нечелове ческие, страшные звуки: «Уаа... Уааа...» Вода хлынула Яшке в рот. Чувствуя у себя на шее мертвую хватку, он по пытался выставить из воды свое лицо, но Володя, дрожа мелкой дрожью, все карабкался на него, наваливался всей тяжестью, старался влезть на плечи. Яшка захлебнулся, закашлялся, задыхаясь, глотая воду, и тогда дикий, небы валый ужас охватил его, в глазах с ослепительной силой вспыхнули красные и желтые круги. Он понял, что Володя утопит его, что пришла его смерть, дернулся из последних сил, забарахтался, закричал так же нечеловечески страш но, как кричал Володя минуту назад, ударил Володю ногой в живот, вынырнул и сквозь бегущую с волос воду увидел яркий сплющенный шар солнца. Чувствуя еще на себе тя жесть Володи, он оторвал, сбросил его с себя, замолотил по воде руками и ногами и, поднимая буруны пены, в ужасе бросился к берегу.

И только ухватившись рукой за прибрежную осоку, он опомнился и посмотрел назад. Взбаламученная вода в омуте успокаивалась, и никого уже не было на ее поверхности.

Из глубины весело выскочило несколько пузырьков воздуха, и у Яшки застучали зубы.

Он оглянулся: ярко светило солнце, и листья кустов и ветлы блестели, радужно светилась паутина между цветами, и трясогузка сидела вверху, на бревне, покачивала хвостом и блестящим глазом смотрела на Яшку, и все было так же, как и всегда, все дышало покоем и тишиной, и стояло над землей тихое утро, а между тем вот только сейчас, совсем недавно, случилось небывалое — только что утонул человек, и это он, Яшка, ударил, утопил его...

Яшка моргнул, отпустил осоку, повел плечами под мокрой рубашкой, глубоко, с перерывами вздохнул воздух и нырнул. Открыв под водой глаза, он не мог сначала ничего разобрать: кругом дрожали неясные желтоватые и зеленоватые блики и какие-то травы, освещенные солнцем. Но свет солнца не проникал туда, в глубину... Яшка опустился еще ниже, проплыл немного, задевая руками и лицом за травы, и тут увидел Володю. Володя держался на боку, одна нога его запуталась в траве, а сам он медленно поворачивался, покачиваясь, подставляя солнечному свету круглое бледное лицо и шевеля левой рукой, словно пробуя на ощупь воду. Яшке показалось, что Володя притворяется и нарочно покачивает рукой, что он следит за ним, чтобы схватить, как только он дотронется до него.

Чувствуя, что сейчас задохнется, Яшка рванулся к Володе, схватил его за рубашку, зажмурился, торопливо дернул тело Володи вверх и удивился, как легко и послушно Володя последовал за ним. Вынырнув, он жадно задышал, и теперь ему ничего не нужно и не важно было, кроме как дышать и чувствовать, как грудь раз за разом наполняется удивительно чистым воздухом.

Не выпуская Володиной рубашки, он стал подталкивать его к берегу. Плыть было тяжело. Почувствовав дно под ногами, Яшка положил Володю грудью на берег, лицом в траву, тяжело вылез сам и вытащил Володю. Он вздрагивал, касаясь холодного тела, глядя на мертвое, неподвижное лицо, торопился и чувствовал себя таким усталым, таким несчастным...

Перевернув Володю на спину, он стал разводить его руки, давить на живот, дуть в нос. Он запыхался и ослабел, а Володя был все такой же белый и холодный. «Помер?» — с испугом подумал Яшка, и ему стало очень страшно. Убежать бы куда-нибудь, спрятаться, чтобы только не видеть этого равнодушного, холодного лица!

Яшка всхлипнул от ужаса, вскочил, схватил Володю за ноги, вытянул, насколько хватило сил, вверх и, побагровев от натуги, начал трясти. Голова Володи билась по земле, волосы свалялись от грязи. И в тот самый момент, когда Яшка, окончательно обессилев и упав духом, хотел бросить все и бежать куда глаза глядят, — в этот самый момент из рта Володи хлынула вода, он застонал и судорога прошла по его телу. Яшка выпустил Володины ноги, закрыл глаза и сел на землю.

Володя оперся слабыми руками, привстал, точно собирался немедленно куда-то бежать, но снова повалился, снова зашелся судорожным кашлем, брызгаясь водой и корчась на сырой траве.

Яшка отполз в сторону и расслабленно смотрел на Володю. Никого сейчас не любил он больше Володи, ничто на свете не было ему милее этого бледного, испуганного и страдающего лица. Робкая, влюбленная улыбка светилась в глазах Яшки, с нежностью смотрел он на Володю и бессмысленно спрашивал:

— Ну как? А? Ну как?..

Володя немного оправился, вытер рукой лицо, взглянул на воду и незнакомым, хриплым голосом, с заметным усилием, заикаясь, выговорил:

— Как я... то-нул...

Тогда Яшка вдруг сморщился, зажмурился, из глаз у него брызнули слезы, и он заревел, заревел горько, безутешно, сотрясаясь всем телом, задыхаясь и стыдясь своих слез. Плакал он от радости, от пережитого страха, от того, что все хорошо кончилось, что Мишка Каюнёнок врал и никаких осьминогов в этом бочаге нет...

Глаза Володи потемнели, рот приоткрылся, и с испугом и недоумением смотрел он на Яшку.

— Ты... что? — выдавил он из себя.

— Да-а... — выговорил Яшка, что есть силы стараясь не плакать и вытирая глаза штанами, — ты уто-о... утонать... а мне тебя спа-а... спаса-а-ать...

И он заревел еще отчаянней и громче.

Володя заморгал, покривился, посмотрел опять на воду, сердце его дрогнуло, он все вспомнил...

— Как... как я тону-ул!.. — будто удивляясь, сказал он и тоже заплакал, дергая худыми плечами, беспомощно опустив голову и отворачиваясь от своего спасителя.

Вода в омуте давно успокоилась, рыба с Володиной удочки сорвалась, удочка прибилась к берегу... Светило солнце, пылали кусты, обрызганные росой, и только вода в омуте оставалась все такой же черной.

Воздух нагрелся, и горизонт дрожал в его теплых струях. Издали, с полей, с другой стороны реки, вместе с порывами теплого ветра летели запахи сена и сладкого клевера. Запахи эти, смешиваясь с более дальними, но острыми запахами леса, и этот легкий теплый ветер были похожи на дыхание проснувшейся земли, радующейся новому светлому дню.

Вопросы и задания

1. Чем отличается поведение Яшки по дороге к реке от поведения Володи? По каким признакам Яшка узнавал, что летят утки, звенят дрозды? Что рассказал он о дроздах?
2. Как вели себя в минуту опасности мальчики? Как объяснить, что Яшке после того, как все кончилось благополучно, не было ничего на свете милее бледного, испуганного, страдающего лица Володи?

   По высказываниям исследователей творчества Казакова, писатель ничего невыгодного для своих героев не утаивает от читателя, который сам должен решить, насколько они хороши или плохи. Как вы думаете, что мог утаить, но не утаил от читателя автор в поведении Яшки?
3. Подготовьте по самостоятельно составленному плану пересказ или чтение рассказа по ролям (на выбор).
4. Бывали ли с вами в лесу или на реке трудные ситуации? Как вы вели себя в это время? Отвечая на вопрос, постарайтесь использовать пословицы: «Друзья познаются в беде», «Одному не под силу — зови товарищей».

ИЗ РАССКАЗА Ю. КАЗАКОВА «О МУЖЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ»

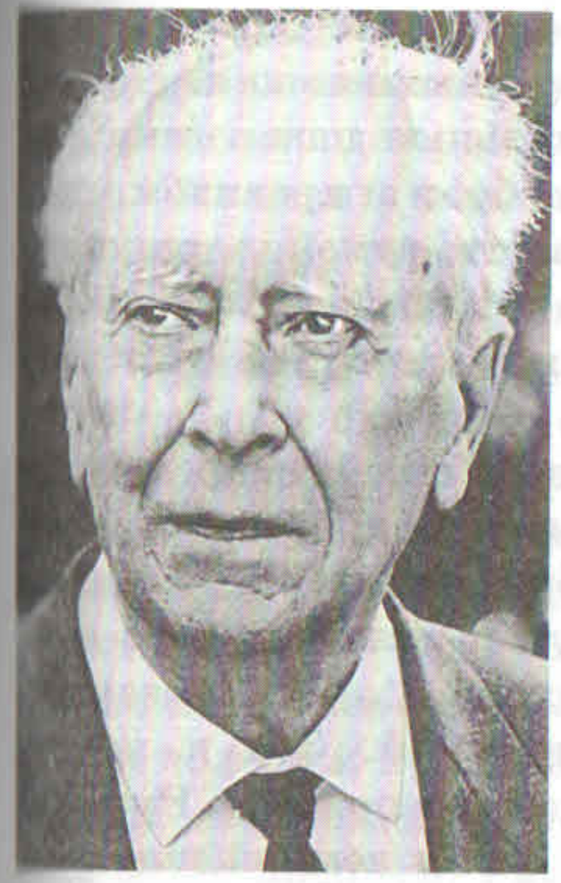
Писатель должен быть мужествен... потому что жизнь его тяжела. Когда он один на один с чистым белым листом бумаги, против него решительно все. Против него миллионы написанных ранее книг — просто страшно подумать! — и мысли о том, зачем же еще писать, когда про все это уже было. Против него головная боль и неуверенность в себе в разные дни, и разные люди, которые в эту минуту звонят к нему или приходят, и всякие заботы, хлопоты, дела, как будто важные, хотя нет для него в этот час дела важнее того, которое ему предстоит. Против него солнце, когда тянет выйти из дому, вообще поехать куда-нибудь, что-то такое повидать, испытать какое-то счастье. И дождь против него, когда на душе тяжело, пасмурно и не хочется работать...

Настоящий писатель работает по десять часов в день. Часто у него застопоривает, и тогда проходит день, и еще день, и еще много дней, а он не может бросить, не может писать дальше и с бешенством, почти со слезами чувствует, как проходят дни, которых у него мало, и проходят впустую...

...У тебя нет власти перестроить мир, как ты хочешь, как нет ее ни у кого в отдельности. Но у тебя есть твоя правда и твое слово. И ты должен быть трижды мужествен, чтобы, несмотря на все свои несчастья, неудачи и срывы, все-таки нести людям радость и говорить без конца, что жизнь станет лучше...

Вопрос и задания

1. Почему, по мнению Юрия Казакова, писателю необходимо мужество? Подтвердите свой ответ цитатами из дневника писателя и высказываний о нем писателей и критиков.
2. Прочитайте самостоятельно рассказ Ю. Казакова «По дороге». Подготовьте отзыв на этот рассказ (устный или письменный — на выбор).



Дмитрий Сергеевич ЛИХАЧЕВ

1906—1999

Дмитрий Сергеевич Лихачев — автор многочисленных исследований по древнерусской литературе.

В его предисловии «От автора» в книге «Земля родная» читаем:

«Судьба сделала меня специалистом по древней русской литературе. Впрочем, что значит „судьба“? Судьба была во мне самом: в моих склонностях и интересах, в моем выборе факультета в Ленинградском университете и в том, к кому из профессоров я стал ходить на занятия. Меня интересовали старые рукописи, меня интересовала литература, меня притягивала к себе Древняя Русь и народное творчество. Если сложить все это вместе и умножить на известную усидчивость и некоторое упрямство в ведении поисков, то все это вместе и открыло мне дорогу к внимательному изучению древней русской литературы.

Но та же судьба, жившая во мне самом, одновременно постоянно отвлекала меня от занятий академической наукой. По натуре я, очевидно, человек беспокойный...

Я хочу, чтобы все ценности принадлежали всем и служили всем, оставаясь на своих местах. Вся земля владеет и хранит ценности, сокровища прошлого. Это и красивый пейзаж, и красивые города, а в городах свои, собранные

многими поколениями памятники искусств. А в селах — традиции народного творчества, трудовые навыки. Ценностями являются не только материальные памятники, но и добрые обычаи, представления о добром и красивом, традиции гостеприимства, приветливости, умение ощутить в другом свое, доброе. Ценностями являются язык, накопленные литературные произведения. Всего не перечислишь.

Что такое наша Земля? Это с невероятной, непредставимой скоростью мчащаяся в космическом пространстве сокровищница необычайно разнообразных и необычайно хрупких созданий человеческих рук и человеческого мозга. Я назвал свою книгу „Земля родная“. Слово „земля“ в русском языке имеет много значений. Это и почва, и страна, и народ (в последнем смысле говорится о Русской земле в „Слове о полку Игореве“), и весь земной шар.

В названии моей книги слово „земля“ может быть понято во всех этих смыслах.

Человека создает земля. Без нее он ничто. Но и землю создает человек. От человека зависит ее сохранность, мир на земле, умножение ее богатств».

Земля родная

(Главы из книги)

Молодость — это вся жизнь

Когда я учился в школе, мне казалось — вот вырасту, и все будет иным. Я буду жить среди каких-то иных людей, в иной обстановке, и все вообще будет иначе. Будет другое окружение, будет какой-то иной, «взрослый» мир, который не будет иметь ничего общего с моим школьным миром. А в действительности оказалось иначе. Вместе со мной вступили в этот «взрослый» мир и мои товарищи по школе, а потом и по Университету. Окружение менялось, но ведь оно менялось и в школе, а в сущности оставалось тем же. Репутация моя как товарища, человека, работника оставалась со мной, перешла в тот иной мир, о котором мне мечталось с детства, и если менялась, то вовсе не начиналась заново.

Я помню, что и у моей матери самыми лучшими подругами до конца ее долгой жизни оставались ее школьные подруги, а когда они отходили «в иной мир», замены им не было. То же и у моего отца — его друзья были друзьями молодости. Во взрослом состоянии приобрести друзей оказывалось трудно. Именно в молодости формируется характер человека, формируется и круг его наилучших друзей — самых близких, самых нужных.

В молодости формируется не только человек — формируется вся его жизнь, все его окружение. Если он правильно выберет себе друзей, ему будет легче жить, легче переносить горе и легче переносить радость. Радость ведь также надо «перенести», чтобы она была самой радостной, самой долгой и прочной, чтобы она не испортила человека и дала настоящее душевное богатство, сделала человека еще более щедрым. Радость, не разделенная с задушевными друзьями, — не радость.

Храните молодость до глубокой старости. Храните молодость в своих старых, но приобретенных в молодости друзьях. Храните молодость в своих навыках, привычках, в своей молодой «открытости к людям», непосредственности. Храните ее во всем и не думайте, что взрослым вы станете «совсем, совсем иным» и будете жить в другом мире.

И помните поговорку: «Береги честь смолоду». Уйти совсем от своей репутации, созданной в свои школьные годы, нельзя, а изменить ее можно, но очень трудно.

Наша молодость — это и наша старость.

Искусство открывает нам большой мир!

Величайшая и ценнейшая черта русской культуры состояла в ее мощи и доброте, которой всегда обладает мощное, по-настоящему мощное начало. Именно поэтому русская культура смогла смело освоить, органически включить в себя начала греческие, скандинавские, угро-финские, тюркские и т. д. Русская культура — открытая культура, культура добрая и смелая, все принимающая и все творчески осмысливающая.

Таким был и русский из русских Петр I. Он не побоялся перенести столицу ближе к Западной Европе, сменить ко-

стюм русских людей, переменить многие обычаи. Ибо не во внешнем суть культуры, а в ее внутреннем интернационализме, высокой культурной терпимости...

Разные художники (французы, армяне, греки, шотландцы) были в русской культуре всегда и будут в ней всегда — в нашей великой, широкой и гостеприимной культуре. Узость и деспотизм никогда не совьют в ней прочного гнезда.

Картинные галереи должны быть пропагандистами этой широты. Будем верить нашим искусствоведам, доверять им, даже если чего-то мы не понимаем.

Ценность замечательных художников в том, что они «разные», т. е. способствуют развитию в нашей... культуре ее разнообразия.

Будем любить все русское, исконно русское, будем любить, скажем, Вологду и фрески[1] Дионисия, но будем неустанно учиться ценить и то, что давала и будет еще давать мировая прогрессивная культура и что таится нового в нас самих. Не будем бояться нового и не будем с порога отшибать все, что мы еще не поняли.

Нельзя в каждом новом по своему методу художнике видеть мошенника и обманщика, как это часто делают малоосведомленные люди. За разнообразие, богатство, сложность, «гостеприимство», широту и интернационализм нашей... культуры и искусства будем ценить и уважать то прекрасное дело, которое делают картинные галереи, знакомя нас с разным искусством, развивая наш вкус, нашу духовную восприимчивость.

Понимать математику — надо учиться.
Понимать музыку — надо учиться.
Понимать живопись — тоже надо учиться!

Учиться говорить и писать

Прочтя такой заголовок, большинство читателей подумает: «Этим я занимался в раннем детстве». Нет, учиться говорить и писать нужно все время. Язык — самое выразительное, чем человек обладает, и, если он перестанет

[1] *Фре́ска* (*итал.* fresco — свежий) — картина, написанная красками, разведенными на воде и нанесенными на свежую штукатурку.

обращать внимание на свой язык, а станет думать, что он овладел им уже в достаточной мере, он станет отступать. За своим языком — устным и письменным — надо следить постоянно.

Самая большая ценность народа — его язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает. Думает! Это надо понять досконально, во всей многозначности и многозначительности этого факта. Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, ощущения только окрашивают то, о чем мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли наши все формулируются языком.

О русском языке как языке народа писалось много. Это один из совершеннейших языков мира, язык, развивавшийся в течение более тысячелетия, давший в XIX в. лучшую в мире литературу и поэзию. Тургенев говорил о русском языке: «...нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

Речь в этой моей заметке пойдет не о русском языке вообще, а о том, как этим языком пользуется тот или иной человек.

Вернейший способ узнать человека — его умственное развитие, его моральный облик, его характер — прислушаться к тому, как он говорит.

Итак, есть язык народа как показатель его культуры и язык отдельного человека как показатель его личных качеств, — качеств человека, который пользуется языком народа.

Если мы обращаем внимание на манеру человека себя держать, его походку, его поведение, на его лицо и по ним судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то язык человека гораздо более точный показатель его человеческих качеств, его культуры.

А ведь бывает и так, что человек не говорит, а «плюется словами». Для каждого расхожего понятия у него не обычные слова, а жаргонные выражения. Когда такой человек с его «словами-плевками» говорит, он хочет показать, что ему все нипочем, что он выше, сильнее всех обстоятельств, умнее всех окружающих, над всем смеется, ничего не боится.

А на самом деле он потому и обзывает своими циничными выражениями и насмешливыми прозвищами те или иные предметы, людей, действия, что он трус и робок, неуверен в себе.

Посмотрите, послушайте, о чем такой «храбрец» и «мудрец» цинично отзывается, в каких случаях он обычно слова заменяет «словами-плевками»? Вы сразу заметите, что это все то, что его страшит, от чего он ждет неприятностей себе, что не в его власти. У него будут «свои» слова для денег, для заработков — законных и особенно незаконных, — для всякого рода махинаций, циничные прозвища людей, которых он боится (бывают, впрочем, прозвища, в которых люди выражают свою любовь и ласку к тому или иному человеку, — это другое дело).

Я этим вопросом специально занимался, поэтому, поверьте мне, я это знаю, а не просто предполагаю.

Язык человека — это его мировоззрение и его поведение. Как говорит, так, следовательно, и думает.

И если вы хотите быть по-настоящему интеллигентным, образованным и культурным человеком, то обращайте внимание на свой язык. Говорите правильно, точно и экономно. Не заставляйте окружающих выслушивать свои длинные речи, не красуйтесь в своем языке: не будьте самовлюбленным болтуном.

Если вам приходится часто публично выступать, — на собраниях, заседаниях, просто в обществе своих знакомых, то, прежде всего, следите, чтобы ваши выступления не были длинными. Следите за временем. Это необходимо не только из уважения к окружающим — это важно, чтобы вас поняли. Первые пять минут — слушатели могут вас слушать внимательно; вторые пять минут — они вас еще продолжают слушать; через пятнадцать минут — они только делают вид, что слушают вас, а на двадцатой минуте — перестают делать вид и начинают перешептываться о своих делах, а когда дойдет до того, что вас прервут или начнут друг другу что-нибудь рассказывать, — вы пропали.

Второе правило. Чтобы выступление было интересным, все, что вы говорите, должно быть интересным и для вас.

Можно даже читать доклад, но читайте его с интересом. Если выступающий с интересом для себя рассказывает или читает и аудитория это чувствует, то и слушателям будет интересно. Интерес не создается в аудитории сам, — интерес внушается аудитории выступающим. Конечно, если тема выступления неинтересна, из попыток внушить интерес слушателям ничего не выйдет.

Постарайтесь так, чтобы в вашем выступлении не было просто цепи разных мыслей, а чтобы была одна, главная мысль, которой должны быть подчинены все остальные. Тогда вас будет легче слушать, в вашем выступлении окажется тема, интрига, появится «ожидание конца», слушатели будут догадываться — к чему вы ведете, в чем вы их хотите убедить — и будут с интересом слушать и ждать, как вы сформулируете в конце вашу основную мысль.

Это «ожидание конца» очень важно, и его можно поддерживать чисто внешними приемами. Например, выступающий два-три раза говорит в разных местах о своем выступлении: «Я еще об этом скажу», «Мы еще к этому вернемся», «Обратите внимание на...» и т. д.

А уметь хорошо писать нужно не только писателю и ученому. Даже хорошо, свободно и с известной долей юмора написанное письмо другу характеризует вас не меньше, чем ваша устная речь. Через письмо дайте почувствовать себя, свое расположение духа, свою раскованность в обращении к симпатичному вам человеку.

Но как научиться писать? Если для того, чтобы научиться хорошо говорить, надо постоянно обращать внимание на речь свою и других, записывать иногда удачные выражения, точно выражающие мысль, существо дела, то, чтобы научиться писать, — надо писать, писать письма, дневники. (Дневники следует вести с юных лет, потом они будут вам просто интересны, а в момент их написания вы не только учитесь писать — вы невольно отчитываетесь в своей жизни, обдумываете то, что с вами было и как вы поступили.) Одним словом: «Чтобы научиться ездить на велосипеде, надо ездить на велосипеде».

Вопросы

1. Вы прочитали несколько глав из книги Д. С. Лихачева «Земля родная», которая написана в публицистическом жанре, т. е. жанре, освещающем злободневные, современные вопросы нашей жизни. На что же обратил наше внимание автор? Как вы поняли главу «Искусство открывает нам большой мир!»?
2. Как вы понимаете поговорку: «Береги честь смолоду»? Почему нельзя совсем уйти от репутации, созданной в школьные годы?
3. Как соединяются культуры разных национальностей в обычной жизни? Какие выставки, художественные промыслы «живут» в вашем крае?

Обогащайте свою речь

Подготовьте сообщение на тему «Искусство моего родного края» (устно или письменно — на выбор).

Используйте советы Д. С. Лихачева, высказанные в главе «Учиться говорить и писать», например: 1. Чтобы выступление и речь был грамотными, нельзя использовать в сообщении и в разговоре жаргонные слова («слова-плевки»). 2. Следите за тем, чтобы выступление не было длинным, — оно должно быть точным и экономным. 3. Чтобы выступление было интересным для всех, оно должно быть интересным для вас и т. д.



ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ

Михаил Михайлович ЗОЩЕНКО

1895—1958

На долю Михаила Зощенко выпала слава, редкая для человека литературной профессии. Ему понадобилось всего три-четыре года работы, чтобы в один прекрасный день вдруг ощутить себя знаменитым не только в писательских кругах, но и в совершенно не поддающейся учету массе читателей.

Журналы оспаривали право печатать его новые рассказы. Его книги, одна опережая другую, издавались и переиздавались чуть ли не во всех издательствах, а попав на прилавок, раскупалась с молниеносной быстротой. Почтальон приносил ему пачки писем. Ему названивали по телефону, не давали проходу на улицах, осаждали в гостиницах.

Он родился в семье небогатого художника-передвижника Михаила Ивановича Зощенко и Елены Иосифовны Суриной, за домашними заботами успевавшей печатать рассказы из жизни бедных людей в газете «Копейка». Когда

ему было 12 лет, умер отец, мать обивала пороги с просьбой о пособии для своих восьмерых детей.

М. Зощенко еще в гимназии мечтал о писательстве, но за невнесение платы он был отчислен из университета.

Он переменил множество занятий — контролер поездов, командир взвода в 1914 году, штабс-капитан, командир батальона, комендант Главного почтамта в Петрограде, пограничник в Стрельне, доброволец Красной Армии (из-за болезни сердца демобилизован), инструктор по кролиководству в совхозе, милиционер в Лигове, сапожник, конторщик, помощник бухгалтера в Петроградском порту. Это было время испытаний — голод, тиф, безработица. Зощенко хотел узнать, как живет и чем дышит прошедший через многовековое рабство народ, — и он это узнал. За несколько лет скитаний он увидел и услышал столько, сколько в спокойное время никогда бы не увидел и не услышал даже за пятьдесят лет.

Писатель принял в свое сердце великую боль и посчитал себя мобилизованным на служение «бедному» (как позже он его назовет) человеку.

К началу 20-х годов он знал о жизни, заботах, духовных и бытовых интересах своего будущего героя. И, что особенно важно, владел его языком. Зощенко был наделен абсолютным слухом и прекрасной памятью. Он замечал: «Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным. Может быть, поэтому у меня много читателей». Не мало ли для такого успеха? Не мало. Если принять во внимание тот «воздух», который содержат эти короткие фразы. «Воздух» — это громадная работа Зощенко над переводом просторечного говора в русло литературного языка.

Смех Зощенко, по-своему понятый начинающим читателем, окрашивал его трудную жизнь и вселял надежду, что все в конечном счете обернется к лучшему. Смеясь до упаду над зощенковскими рассказами, читатель шел к Зощенко за рецептом, как больной к доктору. Но «доктор» избегал принимать «больных». Он был малообщительный и невеселый человек. Он считал, что не смеяться над рассказами надо, а плакать. Зощенко был верным последователем гоголевского направления в литературе.

Своими рассказами Зощенко как бы призывал не бороться с людьми — носителями обывательских черт, а помогать им от этих обывательских черт избавляться. И еще — насколько возможно — облегчить их заботы по устройству сносного быта...

Зощенко оставил нам более тысячи рассказов и фельетонов, повести, пьесы, киносценарии, критические статьи и многое другое — всего около ста тридцати книг вышло при его жизни. Изучая наследие писателя, мы, конечно же, вспомним Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Чехова, и, еще раз подивившись тому, сколь стойки и неувядаемы традиции классической русской сатиры, где смех никогда не был смехом стороннего, где за внешне веселой формой всегда стояло идущее от сердечной боли гражданское содержание, мы неминуемо придем к мысли, что Зощенко, как и его великие предшественники, беззаветно верил в будущее своего народа, в его ум, трудолюбие и способность расстаться с тем, что мешает его историческому движению.

По Ю. Томашевскому

Беда

Егор Иваныч, по фамилии Глотов, мужик из деревни Гнилые Прудки, два года копил деньги на лошадь. Питался худо, бросил махорку, а что до самогона, то забыл, какой и вкус в нем. То есть как ножом отрезало — не помнит Егор Иваныч, какой вкус, хоть убей.

А вспомнить, конечно, тянуло. Но крепился мужик. Очень уж ему нужна была лошадь.

«Вот куплю, — думал, — лошадь и клюкну тогда. Будьте покойны».

Два года копил мужик деньги и на третий подсчитал свои капиталы и стал собираться в путь.

А перед самым уходом явился к Егору Иванычу мужик из соседнего села и предложил купить у него лошадь. Но Егор Иваныч предложение это отклонил. И даже испугался.

— Что ты, батюшка! — сказал он. — Я два года солому жрал — ожидал покупки. А тут на-кося — купи у него ло-

шадь. Это вроде как и не покупка будет... Нет, не путай меня, браток. Я уж в город лучше поеду. По-настоящему чтобы.

И вот Егор Иваныч собрался. Завернул деньги в портянку, натянул сапоги, взял в руки палку и пошел.

А на базаре Егор Иваныч тотчас облюбовал себе лошадь.

Была эта лошадь обыкновенная, мужицкая, с шибко раздутым животом. Масти она была неопределенной — вроде сухой глины с навозом.

Продавец стоял рядом и делал вид, что он ничуть не заинтересован, купят ли у него лошадь.

Егор Иваныч повертел ногой в сапоге, ощупал деньги и, любовно поглядывая на лошадь, сказал:

— Это что ж, милый, лошадь-то, я говорю, это самое, продаешь ай нет?

— Лошадь-то? — небрежно спросил торговец. — Да уж продаю, ладно. Конечно, продаю.

Егор Иваныч тоже хотел сделать вид, что он не нуждается в лошади, но не утерпел и сказал, сияя:

— Лошадь-то мне, милый, вот как требуется. До зарезу нужна мне лошадь. Я, милый ты мой, три года солому жрал, прежде чем купить ее. Вот как мне нужна лошадь... А какая между тем цена будет этой твоей лошади? Только делом говори.

Торговец сказал цену, а Егор Иваныч, зная, что цена эта не настоящая и сказана, по правилам торговли, так, между прочим, не стал спорить. Он принялся осматривать лошадь. Он неожиданно дул ей в глаза и в уши, подмигивая, прищелкивая языком, виляя головой перед самой лошадиной мордой, и до того запугал тихую клячу, что та, невозмутимая до сего времени, начала тихонько лягаться, не стараясь, впрочем, попасть в Егор Иваныча.

Когда лошадь была осмотрена, Егор Иваныч снова ощупал деньги в сапоге и, подмигнув торговцу, сказал:

— Продается, значится... лошадь-то?

— Можно продать, — сказал торговец, несколько обижаясь.

— Так... А какая ей цена-то будет? Лошади-то?

Торговец сказал цену, и тут начался торг.

Егор Иваныч хлопал себя по голенищу, дважды снимал сапог, вытаскивая деньги, и дважды надевал снова, божился, вытирал рукой слезы, говорил, что он шесть лет лопал солому и что ему до зарезу нужна лошадь, — торговец сбавлял цену понемногу. Наконец в цене сошлись.

— Бери уж, ладно, — сказал торговец. — Хорошая лошадь. И масть крупная, и цвет, обрати внимание, какой заманчивый.

— Цвет-то... Сомневаюсь я, милый, в смысле лошадиного цвету, — сказал Егор Иваныч. — Неинтересный цвет... Сбавь немного.

— А на что тебе цвет? — сказал торговец. — Тебе что, пахать цветом-то?

Сраженный этим аргументом, мужик оторопело посмотрел на лошадь, бросил шапку наземь, задавил ее ногой и крикнул:

— Пущай уж, ладно!

Потом сел на камень, снял сапог и вынул деньги. Он долго и с сожалением пересчитывал их и подал торговцу, слегка отвернув голову. Ему было невыносимо смотреть, как скрюченные пальцы разворачивали его деньги.

Наконец торговец спрятал деньги в шапку и сказал, обращаясь уже на «вы»:

— Ваша лошадь... Ведите...

И Егор Иваныч повел. Он вел торжественно, цокал языком и называл лошадь Маруськой. И только когда прошел площадь и очутился на боковой улице, понял, какое событие произошло в его жизни. Он вдруг скинул с себя шапку и в восторге стал давить ее ногами, вспоминая, как хитро и умно он торговался. Потом пошел дальше, размахивая от восторга руками и бормоча:

— Купил!.. Лошадь-то... Мать честная... Опутал его... Торговца-то...

Когда восторг немного утих, Егор Иваныч, хитро смеясь себе в бороду, стал подмигивать прохожим, приглашая их взглянуть на покупку. Но прохожие равнодушно проходили мимо.

«Хоть бы землячка для сочувствия... Хоть бы мне землячка встретить», — подумал Егор Иваныч.

И вдруг увидел малознакомого мужика из дальней деревни.

— Кум! — закричал Егор Иваныч. — Кум, поди-кось поскорей сюда!

Черный мужик нехотя подошел и, не здороваясь, посмотрел на лошадь.

— Вот... Лошадь я, этово, купил! — сказал Егор Иваныч.

— Лошадь, — сказал мужик и, не зная, чего спросить, добавил: — Стало быть, не было у тебя лошади?

— В том-то и дело, милый, — сказал Егор Иваныч, — не было у меня лошади. Если б была, не стал бы я трепаться... Пойдем, я желаю тебя угостить.

— Вспрыснуть, значит? — спросил земляк, улыбаясь. — Можно. Что можно, то можно. В «Ягодку», что ли?

Егор Иваныч качнул головой, хлопнул себя по голенищу и повел за собой лошадь. Земляк шел впереди.

Это было в понедельник. А в среду утром Егор Иваныч возвращался в деревню. Лошади с ним не было. Черный мужик провожал Егор Иваныча до немецкой слободы.

— Ты не горюй, — говорил мужик. — Не было у тебя лошади, да и эта не лошадь. Ну, пропил, — эка штука. Зато, браток, вспрыснул. Есть что вспомнить.

Егор Иваныч шел молча, сплевывая длинную желтую слюну.

И только когда земляк, дойдя до слободы, стал прощаться, Егор Иваныч сказал тихо:

— А я, милый, два года солому лопал... зря...

Земляк сердито махнул рукой и пошел назад.

— Стой! — закричал вдруг Егор Иваныч страшным голосом. — Стой! Дядя... милый!

— Чего надо? — строго спросил мужик.

— Дядя... милый... братишка, — сказал Егор Иваныч, моргая ресницами. — Как же это? Два года ведь солому зря лопал... За какое самое... За какое самое это... вином торгуют?

Земляк махнул рукой и пошел в город.

Вопросы и задания

1. Чем объяснить то, что к Зощенко необычайно громкая слава пришла почти сразу после выхода его рассказов? Почему писатель считал, что над его рассказами надо не только смеяться, но и плакать? Каких писателей мы вспоминаем, размышляя над этим вопросом?
2. Прочитайте внимательно рассказ о Зощенко и перескажите его в классе.
3. Что за человек герой рассказа «Беда» и что за история приключилась с ним? Что вызывает у вас эта история: смех, раздражение, слезы? Кто виноват в том, что все так печально закончилось?
4. Как вы думаете, от каких «обывательских черт» надо было бы избавиться мужику? Над чем смеется и над чем горюет автор рассказа?
5. Подготовьте чтение рассказа по ролям, обратив внимание на просторечную лексику героев.

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА...»

(Стихотворения о родной природе)



«Каждый любит природу по-своему и „как может“, — пишет Константин Георгиевич Паустовский. — Любовь к природе не бездеятельна и созерцательна. В любую минуту она может перейти из состояния созерцательности в гнев и сопротивление. Многие знают тот леденящий сердце гнев, какой испытываешь при виде бессмысленного опустошения природы. Гул от падения срубленных на корню вековых деревьев причиняет почти физическую боль. Мы ведь знаем, что порой рубка леса вызывается не жизненной необходимостью, а разгильдяйством, невежеством и, что хуже всего, рваческим отношением к земле.

Редакции наших газет завалены сотнями писем простых людей со всех концов страны о неразумном, а то и просто преступном отношении к природе.

До сих пор у нас нет еще полного понимания азбучной истины, что сохранение природы, сохранение пейзажа — дело государственной важности...

Своими моральными качествами, талантливостью и творческой силой наш народ обязан, среди других причин, и нашей природе. Сила ее эстетического воздействия так велика, что, не будь ее, у нас не было бы такого блистательного Пушкина, каким он был. И не только Пушкина, но и Лермонтова, Чайковского, Чехова, Горького, Тургенева, Льва Толстого, Пришвина и, наконец, не было бы плеяды[1] замечательных художников-пейзажистов: Саврасова, Левитана, Борисова-Мусатова, Нестерова, Жуковского, Репина, Крымова, Ромадина и многих других.

...Понятно, что любование природой есть следствие любви к ней, а любовь к родной природе — один из вернейших признаков любви к своей стране...»

Вопросы и задания

1. Прочитайте статью К. Г. Паустовского «Заметки о живописи», из которой взят отрывок для учебника. Какое отношение к природе называет К. Паустовский преступным? Как перекликается эта мысль писателя с рассказом Е. Носова «Кукла»? Попробуйте сформулировать манифест[2] «В защиту родной природы».
2. Читая стихотворения поэтов XX века о родине и родной природе, вы, конечно, вспомните и произведения русских поэтов XIX века — Пушкина и Лермонтова, Фета и Тютчева, Некрасова и Бунина... и, конечно, художников-пейзажистов... Какое настроение несет каждое из стихотворений?

[1] *Плея́да* — группа выдающихся деятелей эпохи, направления.
[2] *Манифе́ст* — письменное обращение программного характера.



Валерий Яковлевич БРЮСОВ

1873—1924

Первый снег

Серебро, огни и блестки —
Целый мир из серебра!
В жемчугах горят березки,
Черно-голые вчера.

Это — область чьей-то грезы,
Это — призраки и сны!
Все предметы старой прозы
Волшебством озарены.

Экипажи, пешеходы,
На лазури белый дым,
Жизнь людей и жизнь природы
Полны новым и святым.

Воплощение мечтаний,
Всемогущего игра,
Этот мир очарований,
Этот мир из серебра!



Федор СОЛОГУБ[1]

1863—1927

* * *

Забелелся туман за рекой,
Этот берег совсем не высок,
И деревья стоят над водой,
И теперь я совсем одинок.

Я в кустах поищу хворостин
И в костер их на берег сношу,
И под ними огонь воскрешу,
Посижу, помечтаю один.

И потом, по теченью реки,
Потихоньку пойду босиком, —
И завижу вдали огоньки,
Буду знать я, что близок мой дом.

[1] Псевдоним Федора Кузьмича Тетёрникова.



Сергей Александрович ЕСЕНИН

1895—1925

* * *

Топи да болота,
Синий плат небес.
Хвойной позолотой
Взвенивает лес.

Тенькает синица
Меж лесных кудрей,
Темным елям снится
Гомон косарей.

По лугу со скрипом
Тянется обоз —
Суховатой липой
Пахнет от колес.

Слухают ракиты
Посвист ветряной...
Край ты мой забытый,
Край ты мой родной!..





Николай Алексеевич ЗАБОЛОЦКИЙ

1903—1958

* * *

Я воспитан природой суровой,
Мне довольно заметить у ног
Одуванчика шарик пуховый,
Подорожника твердый клинок.

Чем обычней простое растенье,
Тем живее волнует меня
Первых листьев его появленье
На рассвете весеннего дня.

В государстве ромашек, у края,
Где ручей, задыхаясь, поет,
Пролежал бы всю ночь до утра я,
Запрокинув лицо в небосвод.

Жизнь потоком светящейся пыли
Все текла бы, текла сквозь листы,
И туманные звезды светили,
Заливая лучами кусты.

И, внимая весеннему шуму
Посреди очарованных трав,
Все лежал бы и думал я думу
Беспредельных полей и дубрав.



Николай Михайлович РУБЦОВ

1936—1971

Тихая моя Родина

В. Белову

Тихая моя Родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

— Где же погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. —
Тихо ответили жители:
— Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.

Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя Родина,
Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.

Словно ворона веселая,
Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Вопросы и задания

1. Какие строчки, приметы родных мест, обозначенных авторами, показались вам особенно запоминающимися?
2. Какие стихотворения о родной природе вы стали бы читать, когда вам грустно или радостно? Приведите примеры, как через стихотворение о родной природе автор передает нам свое настроение. Какие литературные приемы (эпитеты, сравнения, метафоры и пр.) помогают автору в этом?
3. Подготовьте наиболее понравившееся стихотворение к конкурсу на тему «Тебе, родной край, посвящается», предварив свое чтение небольшим рассказом о поэте (используйте «Справочник имен» и советы актеров по художественному чтению).

Литература и живопись

1. Какие художники-пейзажисты вам известны? Расскажите об одном из них (например, о Левитане), продемонстрируйте репродукции его картин. Используйте в рассказе отрывок из статьи К. Г. Паустовского «Заметки о живописи».
2. Подумайте, картины каких художников-пейзажистов[1] (Шишкин, Саврасов, Левитан и др.) близки к каждому из авторов произведений, включенных в раздел «Тихая моя Родина...».
3. Создайте устный или письменный рассказ по одной из картин, включив в него строки стихотворений о родной природе, на тему «Всякому мила своя сторона».

[1] *Художник-пейзажи́ст* — художник, автор картин, изображающих природу.

ПЕСНИ НА СТИХИ РУССКИХ ПОЭТОВ XX ВЕКА



Инна Анатольевна ГОФФ

1928—1991

Русское поле

Поле,
Русское поле...
Светит луна или падает снег —
Счастьем и болью
Вместе с тобою.
Нет, не забыть тебя сердцу вовек!

Русское поле,
Русское поле...
Сколько дорог прошагать мне пришлось!
Ты моя юность,
Ты моя воля,
То, что сбылось, то, что в жизни сбылось.

Не сравнятся с тобой
Ни леса, ни моря.
Ты со мной, мое поле,
Студит ветер висок.
Здесь Отчизна моя,
И скажу, не тая:
— Здравствуй, русское поле,
Я твой тонкий колосок.

Поле,
Русское поле...
Пусть я давно человек городской,
Запах полыни,
Вешние ливни
Вдруг обожгут меня прежней тоской.

Русское поле,
Русское поле...
Я, как и ты, ожиданьем живу,
Верю молчанью,
Как обещанью,
Пасмурным днем вижу я синеву.

Не сравнятся с тобой
Ни леса, ни моря.
Ты со мной, мое поле,
Студит ветер висок.
Здесь Отчизна моя,
И скажу, не тая:
— Здравствуй, русское поле,
Я твой тонкий колосок.



Булат Шалвович ОКУДЖАВА

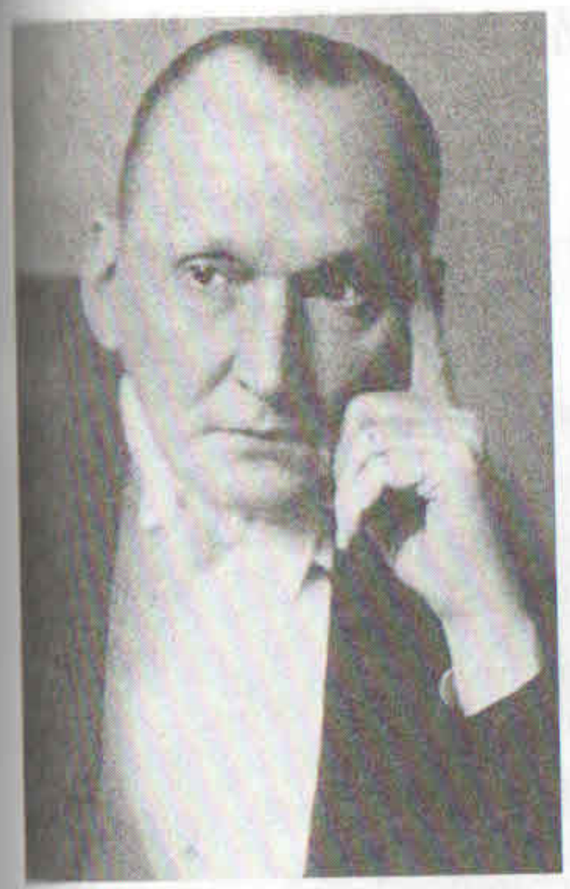
1924—1997

По Смоленской дороге

По Смоленской дороге — леса, леса, леса.
По Смоленской дороге — столбы, столбы, столбы.
Над Смоленской дорогою, как твои глаза, —
две вечерних звезды — голубых моих судьбы.

По Смоленской дороге — метель в лицо, в лицо,
всё нас из дому гонят дела, дела, дела.
Может, будь понадежнее рук твоих кольцо —
покороче б, наверно, дорога мне легла.

По Смоленской дороге — леса, леса, леса.
По Смоленской дороге — столбы, столбы, столбы.
На дорогу Смоленскую, как твои глаза,
две холодных звезды голубых глядят, глядят.



Александр Николаевич ВЕРТИНСКИЙ

1889—1957

Доченьки

У меня завелись ангелята,
Завелись среди белого дня.
То, над чем я смеялся когда-то,
Все теперь восхищает меня.

Жил я шумно и весело, каюсь.
Но жена все к рукам прибрала.
Совершенно со мной не считаясь,
Мне двух дочек она родила.

Я был против... Начнутся пеленки,
Для чего свою жизнь усложнять?
Но залезли мне в сердце девчонки,
Как котята в чужую кровать.

И теперь с новым смыслом и целью
Я, как птица, гнездо свое вью
И порою над их колыбелью
Сам себе удивленно пою:

Доченьки, доченьки,
Доченьки мои,

Где ж вы, мои ноченьки,
Где ж вы, соловьи?

Много русского солнца и света
Будет в жизни дочурок моих.
И что самое главное — это
То, что Родина будет у них.

Будет дом, будет много игрушек.
Мы на елку повесим звезду.
Я каких-нибудь добрых старушек
Специально для них заведу.

Чтобы песни им русские пели,
Чтобы сказки ночами плели,
Чтобы тихо года шелестели,
Чтобы детство забыть не могли.

Правда, я постарею немного,
Но душой буду юн, как они,
И просить буду доброго Бога,
Чтоб продлил мои грешные дни.

Вырастут доченьки,
Доченьки мои,
Будут у них ноченьки,
Будут соловьи.

И закроют оченьки
Доченьки мои,
Мне споют на кладбище
Те же соловьи.

Вопросы и задания

1. Какие романсы и песни на слова и музыку русских поэтов и композиторов XIX—XX веков вам известны? Вспомните и назовите их авторов.
2. Слышали ли вы песни «Русское поле» Инны Гофф, «По Смоленской дороге» Булата Окуджавы и «Доченьки» Александра Вертинского? О чем эти песни? Чем они вас поразили? Подготовьте полный, развернутый ответ.
3. Выучите и прочитайте или напойте одну из этих песен.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ



Расул ГАМЗАТОВ

1923—2003

Маленькая Авария. Страна суровой судьбы. Край древний, как само время. Дагестан — Страна гор — так называют свою родину сами горцы. Авария — самая недоступная ее часть. В Дагестане зарегистрировано 33 местных народности, с десятью разнообразными языками, наречиями (аварцы, даргинцы, лакцы, лезгины, ногайцы, таты, чеченцы и др.).

Слово в горах было издавна реальной силой. Расулу Гамзатову было одиннадцать лет, когда он сочинил свое первое стихотворение. Поэзия начинается с удивления. Если с удивления начинается поэзия, то оно почти всегда заставляет читателя поверить, что поразившее поэта явление не было случайным и заключает в себе глубокий смысл...

Ребенком Расул жадно впитывал в себя звуки и краски окружающего. Традиции национального уклада горцев, старинные легенды и народные песни, влияние русской культуры — вот что питало музу Расула Гамзатова. Он с детства не был предубежден против других наций, других культур. Мальчиком почувствовал бережное отноше-

ние к слову. За крепостной стеной — школа, где он учился, куда пришел учителем, отсюда ушел с аварским передвижным театром по аулам. В Аварии вышла первая книга стихов Расула Гамзатова «Любовь вдохновенная и гнев огненный». Большое значение для формирования поэтического таланта Гамзатова имела учеба в Литературном институте в Москве. Дружба с русскими поэтами дала Расулу и переводчиков (Н. Гребнев, Я. Козловский и др.). В то же время многие дагестанские поэты взяли за образец работу Гамзатова по переводам русской классики («Медный всадник», «Полтава» Пушкина, стихотворения Лермонтова, Маяковского).

Главным для Расула Гамзатова всегда оставалась правда, духовная жизнь народа. Поэт пишет, что если кому он и кланялся, то только цветам весной. Желание приносить пользу людям, желание участвовать в общем деле — это приметы активной позиции Гамзатова. Для него становятся важными вечные темы и проявление в них нового, современного. В возвращении к истокам есть и черты «личного» времени, зрелость собственного возраста («Я вновь пришел сюда и сам не верю...»), по-особому осмысляется тема тоски по Родине («Опять за спиною родная земля...»). Он открыл горцам русскую традицию гуманизма. Одно из наиболее сильных стихотворений Гамзатова — «Родной язык»:

Кого-то исцеляет от болезней
Другой язык, но мне на нем не петь,
И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть.

(«Родной язык», перевод Н. Гребнева)

Шестидесятые годы в поэзии Гамзатова отмечены пристальным вниманием к духовной жизни своего народа, миру души человека. В книге «Высокие звезды» мы впервые находим новые жанры — восьмистишия и надписи. Для творчества Расула Гамзатова характерен сплав вековых традиций с тем новым, что пришло в горы, распахнув неоглядные дали перед его народом. Мир стал бы совершенней, говорит поэт, если бы следовал обычаям и древним, и новым, лишь бы они были добрыми.

По Вл. Огневу

* * *

Земля как будто стала шире.
И тем горжусь, что в наши дни
Все больше в неспокойном мире
Моей становится родни.

(«О моей родине», перевод Я. Козловского)

Из цикла «Восьмистишия»[1]

* * *

Опять за спиною родная земля,
И снова чужая земля за рекою,
Граница отчизны — не лес, не поля.
Граница отчизны — граница покоя.

Но вновь возвращаюсь я издалека,
Друзьям пожимаю горячие руки,
Граница отчизны — не мост, не река.
Граница отчизны — граница разлуки.

* * *

Я вновь пришел сюда и сам не верю.
Вот класс, где я учился первый год.
Сейчас решусь, сейчас открою двери.
Захватит дух, и сердце упадет.

И босоногий мальчик, мне знакомый,
Встав со скамьи, стоявшей в том году,
Навстречу побежит ко мне, седому.
И этой встречи я боюсь и жду.

Вопросы

1. Что нового вы узнали из статьи Вл. Огнева о Гамзатове?
2. О чем приведенные в вашем учебнике стихотворения Гамзатова?
3. Как вы понимаете следующие строки?

Все больше в неспокойном мире
Моей становится родни...

Граница отчизны — не лес, не поля.
Граница отчизны — граница покоя...

[1] Цикл «Восьмистишия» перевел Н. Гребнев.

Любовь к своей нации обязывает людей быть признательными к тем народам, влияние которых было полезно для нее.

Н. Г. Чернышевский



Роберт БЁРНС

1759—1796

Роберт Бёрнс — удивительное и редкостное явление в поэзии. Сын шотландского крестьянина и сам крестьянин, нередко слагавший свои стихи за работой в поле, он — живое и яркое свидетельство огромной духовной творческой силы народа...

А. Т. Твардовский

Роберт Бёрнс родился в 1759 году на севере Шотландии в семье трудолюбивых фермеров. Его отец стремился к образованию, любил книги. По вечерам и сам писал «Наставление в вере и благочестии» для своего сына-первенца. В нем он записывал воображаемый вопрос и давал на него ответ — что есть Добро и Зло, что такое Долг человека. Сыновьям он нашел учителя и гордился их успехами в учении. На всю жизнь сохранилась у будущего поэта любовь к книгам, купленным отцом, — «Жизнь Ганнибала», «История сэра Уильяма Уоллеса[1]», он перечитывал их без конца.

Со смертью отца, по словам Бёрнса, он потерял «лучшего из друзей, мудрейшего из наставников»:

Был честный фермер мой отец,
Он не имел достатка,
Но от наследников своих
Он требовал порядка.
Учил достоинство хранить,
Хоть нет гроша в карманах.
Страшнее — чести изменить,
Чем быть в отрепьях рваных!..

Впоследствии и сам поэт становится наставником своему младшему брату, которому писал: «Прежде всего учись сдержанности и молчаливости. Будь ты мудрым, как Ньютон, и остроумным, как Свифт, — болтливость всегда принизит тебя в глазах окружающих...» И в другом письме: «Душа человека — его королевство. Сейчас в твоем возрасте закладываются черты характера... И эти черты останутся в тебе до самого конца».

Его поэтическая лира воспевает пахаря и угольщика, пастуха и кузнеца, она близка к народным песням, балладам, преданиям и сатирическим народным произведениям. Поэт всегда на стороне бедных и обездоленных, несправедливо униженных и обиженных. Отчетливо понимая, что поэтический дар — особый дар, Бёрнс все-таки считает, что «совершенство в этой профессии есть плод усердия, труда, вдумчивости и поисков...». Серьезной считает он и миссию, назначение поэта:

Одной мечтой с тех пор я жил:
Служить стране по мере сил...

Вот почему особое место занимали в его поэзии песни, идущие от простого люда:

При всем при том,
При всем при том
Могу вам предсказать я,

[1] *Уо́ллес* — легендарный герой многовековой борьбы Шотландии за независимость.

Что будет день,
Когда кругом
Все люди станут братья!

Несмотря на тяжелую работу фермера и поэтическую деятельность, Бёрнс и его семья пребывали в бедности и нужде. Лишь после смерти поэта его слава стала расти, а произведения начали издаваться на всех языках мира.

Русские читатели стали знакомиться с его поэзией по переводам известных русских поэтов. В наше время стихотворения Роберта Бёрнса заблистали новыми красками благодаря переводам Самуила Яковлевича Маршака, который, по словам А. Т. Твардовского, «сделал Бёрнса русским, оставив его шотландцем».

Вопросы и задания

1. Кого воспевал поэт в своих произведениях? Что вам известно о нем?
2. Прочитайте книгу Р. Райт-Ковалевой из серии ЖЗЛ «Роберт Бёрнс», подготовьте рассказ о поэте. Автор этой книги пишет: «Пожалуй, нет в мире поэта, которого бы так знали и так пели — на протяжении двух веков! — в его родной стране. Строки его лучших стихов стали лозунгами, их несут на стягах шотландцы во время всемирных фестивалей — встреч доброй воли.

   Его слова вошли в поговорки, в пословицы, его песни вернулись в народ».
3. Познакомьтесь со стихотворением Бёрнса «Честная бедность». Подумайте, насколько справедливы слова автора книги о Роберте Бёрнсе.

Честная бедность

Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее.

При всем при том,
При всем при том,
Пускай бедны мы с вами,

Богатство —
Штамп на золотом,
А золотой —
Мы сами!

Мы хлеб едим и воду пьем,
Мы укрываемся тряпьем
И все такое прочее.
А между тем дурак и плут
Одеты в шелк и вина пьют
И все такое прочее.

При всем при том,
При всем при том
Судите не по платью,
Кто честным кормится трудом, —
Таких зову я знатью.

Вот этот шут — природный лорд,
Ему должны мы кланяться.
Но пусть он чопорен и горд,
Бревно бревном останется!

При всем при том,
При всем при том,
Хоть весь он в позументах, —
Бревно останется бревном
И в орденах и в лентах!

Король лакея своего
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.

При всем при том,
При всем при том
Награды, лесть
И прочее
Не заменяют
Ум и честь
И все такое прочее!

Настанет день, и час пробьет,
Когда уму и чести

На всей земле придет черед
Стоять на первом месте.

При всем при том,
При всем при том
Могу вам предсказать я,
Что будет день,
Когда кругом
Все люди станут братья!

(Перевод С. Маршака)

Вопросы и задание

1. Понравилось ли вам стихотворение Бёрнса? Что возмущает поэта? На что он надеется и во что верит?
2. Какая из пословиц близка основной мысли стихотворения Бёрнса «Честная бедность»: «Правда любого врага одолеет», «И сила уму уступает», «Лучше жить бедняком, чем разбогатеть со грехом»?
3. Выучите стихотворение наизусть, прочитайте его в классе, подчеркнув его грустный и одновременно шутливый характер.



Джордж Гордон БАЙРОН

1788—1824

Джордж Гордон Байрон — английский поэт, автор поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда», главным героем которой является бунтарь. Поэт принимал участие в борьбе итальянского и греческого народов за независимость. Литературовед Р. Усманова пишет, что декабристы считали Байрона примером служения делу свободы, борьбы с тиранией. Пушкин и Лермонтов неоднократно обращались в своих произведениях к его вольнолюбивой поэзии.

А. С. Пушкин назвал Байрона гением, «властителем дум», воспел его в своих стихотворениях, сравнивая мятежную душу поэта с могучей стихией моря:

Твой образ был на нем означен.
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем не укротим...

Произведения Байрона печатаются на различных языках мира. Гуманистический смысл творчества Байрона заключен в его собственных словах: «...все, что человечество гнетет, / Всегда во мне противника найдет...»

Ты кончил жизни путь, герой!..

Ты кончил жизни путь, герой!
Теперь твоя начнется слава,
И в песнях родины святой
Жить будет образ величавый,
Жить будет мужество твое,
Освободившее ее.

Пока свободен твой народ,
Он позабыть тебя не в силах.
Ты пал! Но кровь твоя течет
Не по земле, а в наших жилах;
Отвагу мощную вдохнуть
Твой подвиг должен в нашу грудь.

Врага заставим мы бледнеть,
Коль назовем тебя средь боя;
Дев наших хоры станут петь
О смерти доблестной героя;
Но слез не будет на очах:
Плач оскорбил бы славный прах.

(Перевод А. Плещеева)

Задания

1. Назовите героев сказок и былин, пушкинских и лермонтовских произведений, которые могут в других «отвагу мощную вдохнуть» и о которых можно сказать словами стихотворения Байрона: «И в песнях родины святой / Жить будет образ величавый».
2. Подготовьте выразительное чтение стихотворения «Ты кончил жизни путь...» и скажите, какому герою вы посвящаете свое чтение. Познакомьтесь с книгой: Джордж Гордон Байрон «Избранное» (с послесловием Р. Усмановой).

ЯПОНСКИЕ ТРЕХСТИШИЯ (ХОККУ)

Японское лирическое стихотворение хокку (хайку) отличается предельной краткостью и своеобразной поэтикой.

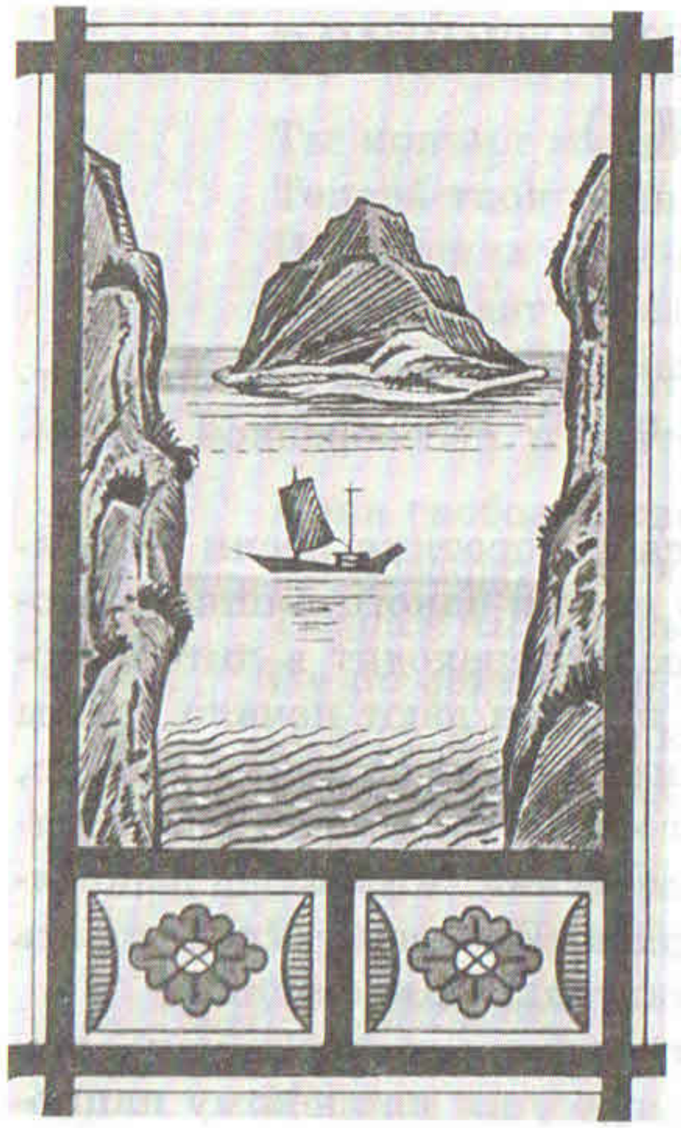
Народ любит и охотно создает короткие песни — сжатые поэтические формулы, где нет ни одного лишнего слова. Из народной поэзии эти песни переходят в литературную, продолжают развиваться в ней и дают начало новым поэтическим формам. Такие стихи можно сочинить быстро, под влиянием непосредственного чувства. Можно афористически, сжато выразить свою мысль так, чтобы она запоминалась и переходила из уст в уста. Их легко использовать для похвалы или, наоборот, язвительной насмешки.

Интересно отметить, что стремление к лаконизму, любовь к малым формам вообще присущи японскому национальному искусству... Хокку — лирическое стихотворение о природе. Оно изображает жизнь природы и жизнь человека в их слитном, нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. В каждом стихе хокку определенное количество слогов: пять в первом, семь во втором и пять в третьем — всего семнадцать слогов.

Ударения в хокку роли не играют... Рифмы нет, но звуковая и ритмическая организация трехстишия — предмет большой заботы японских поэтов. Краткость роднит хокку с народными пословицами. Некоторые трехстишия получили хождение в народной речи на правах пословиц, как, например, стихотворение поэта Басё:

Слово скажу —
Леденеют губы.
Осенний вихрь!

Как пословица оно означает, что «осторожность иногда заставляет промолчать». Но чаще всего хокку резко отличается от пословицы по своим жанровым признакам. Это не назидательное изречение, короткая притча или меткая





острота, а поэтическая картина, набросанная одним-двумя штрихами. Задача поэта — заразить читателя лирическим волнением, разбудить его воображение, и для этого не обязательно рисовать картину во всех ее деталях.

Сборник хокку нельзя «пробегать глазами», листая страницу за страницей. Если читатель будет пассивным и недостаточно внимательным, он не воспримет импульса, посланного ему поэтом...

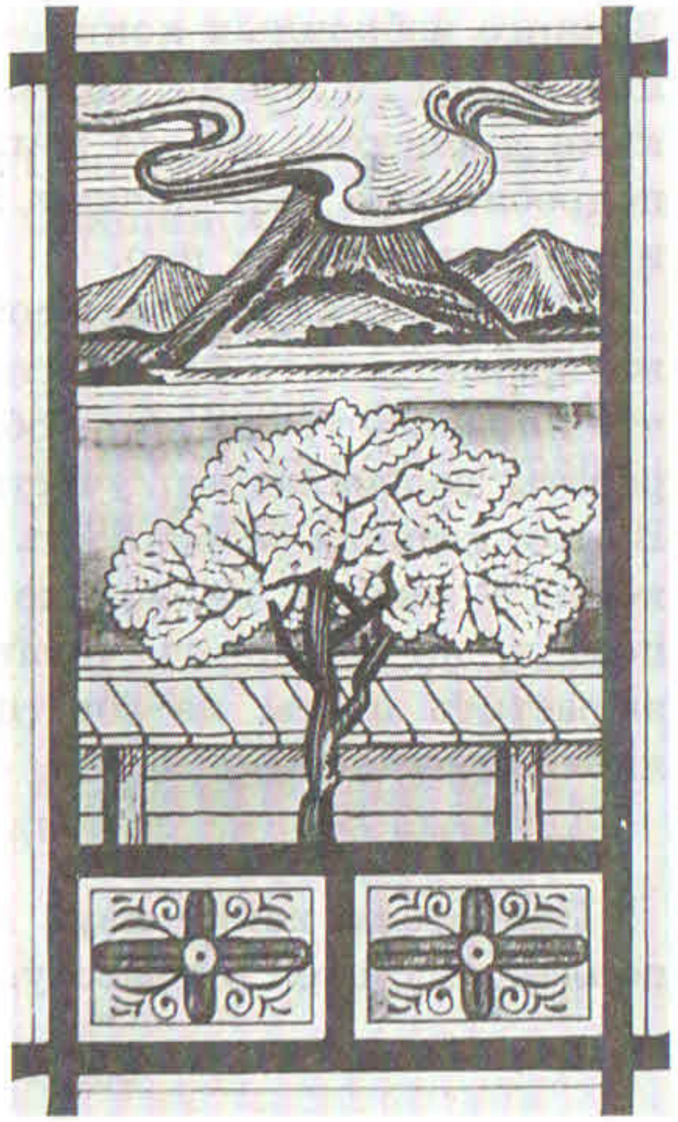
Когда поэт Йсса заступается за светлячка, муху, лягушку, нетрудно понять, что тем самым он встает на защиту обездоленного человека...

Вот выплыла луна,
И каждый мелкий кустик
На праздник приглашен, —

говорит Исса, и мы узнаем в этих словах мечту о равенстве людей.

Хокку сродни искусству живописи. Они нередко писались на сюжеты картин и, в свою очередь, вдохновляли





художников; подчас они превращались в компонент картины в виде каллиграфически выполненной надписи на ней. Таково, например, трехстишие Басё:

Цветы сурепки вокруг.
На западе гаснет солнце.
Луна на востоке встает.

Поэт предлагает по-новому взглянуть на ту картину, которую каждый видел, может быть, десятки раз...

Часто поэт создает не зрительные, а звуковые образы. Вой ветра, стрекот цикад, крики фазана, пенье соловья и жаворонка, голос кукушки — каждый звук исполнен особого смысла, рождает определенные настроения и чувства. В лесу звучит целый оркестр. Жаворонок ведет мелодию флейты, резкие крики фазана — ударный инструмент:

Жаворонок поет.
Звонким ударом по чаще
Вторит ему фазан.
(Басё)

В книге избранных хокку — вся природа Японии, исконный уклад ее жизни, обычаи и верования, труд и праздники японского народа в их самых характерных, живых подробностях. Вот почему хокку любят, знают наизусть и сочиняют до сих пор.

Переводчик стремится сохранить лаконизм хокку и в то же время сделать их понятными. Надо, однако, помнить, что японское трехстишие обязательно требует от читателя работы воображения, участия в творческом труде поэта. В этом главная особенность хокку. Все растолковывать до конца — значит не только погрешить против японской поэзии, но и лишить читателя большой радости самому вырастить цветы из горсти семян, щедро рассыпанных японскими поэтами.

По В. Марковой

Прочитаем хокку двух японских поэтов, постараемся понять их смысл и красоту...

Мацуо Басё

1644—1694

Выдающийся национальный поэт Японии Мацуо Басё родился в 1644 году. Его стихи и ныне, по прошествии трех веков, знает наизусть каждый культурный японец. Поэт вдохнул в хокку жизненную правду, поэтические образы. Его хокку полны глубокого значения, они раскрывают перед нами душевный мир, его чувства и переживания. Герои хокку Басё влюблены в природу родной страны. Он хорошо знал жизнь простых людей Японии. Судьба самого поэта складывалась своеобразно. Он — сын учителя каллиграфии, с детства был товарищем игр княжеского сына — большого любителя поэзии, начал рано писать стихи. После смерти своего господина ушел в город, принял постриг, но настоящим монахом не стал, жил в маленьком предместье. Поэзия его — не средство пропитания, но высокое призвание всей его жизни. Она отличается возвышенным строем чувств и жизненной правдой.

* * *

Праздник Нового года!
Но печален я, вспоминая
Долгий вечер осенний.

* * *

Проталина в снегу.
А в ней — светло-лиловый
Спаржи стебелек.

* * *

О проснись, проснись!
Стань товарищем моим,
Спящий мотылек!

* * *

Все волнения, всю печаль
Твоего смятенного сердца
Гибкой иве отдай!

* * *

Весеннее утро.
Над каждым холмом безыменным
Прозрачная дымка.

Кобаяси Исса

1763—1827

Кобаяси Исса родился в горной деревне в семье крестьянина. Мать его умерла, когда он был ребенком, мачеха обращалась с ним жестоко, поэтому он четырнадцати лет от роду ушел «в люди», долгие годы боролся с нуждой. Только на склоне лет получил наследство и смог жить в достатке, много странствовал, оставил богатое поэтическое наследие: более шести тысяч хокку, дневники, шуточные стихи.

* * *

В стране моей родной
Цветет вишневым цветом
И на полях трава!

* * *

Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья
Под вишнями в цвету.

* * *

Вот выплыла луна,
И самый мелкий кустик
На праздник приглашен.

* * *

По дороге не ссорьтесь,
Помогайте друг другу, как братья,
Перелетные птицы!

* * *

Стаял зимний снег.
Озарились радостью
Даже лица звезд.

* * *

Ах, не топчи траву́!
Там светляки сияли
Вчера ночной порой.

* * *

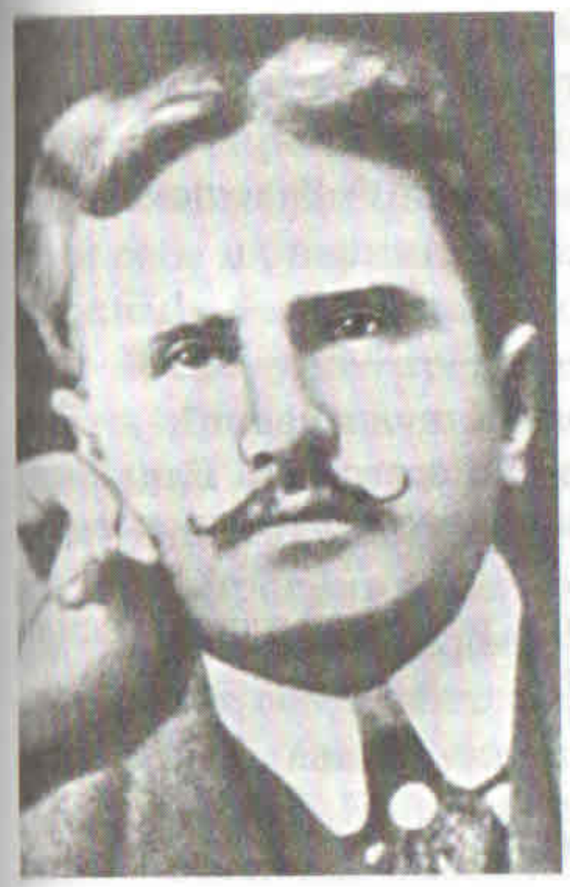
Верно, в прежней жизни
Ты сестрой моей была,
Грустная кукушка?

* * *

Наша жизнь — росинка,
Пусть лишь капелька росы
Наша жизнь — и все же.

Задания

1. Вы познакомились с хокку. Выберите и прочитайте вслух наиболее понравившиеся, расскажите, как вы их понимаете.
2. Попробуйте подготовить собственные хокку, посвятив их родной природе или своим отношениям с друзьями.



О. ГЕНРИ

1862—1910

О. Генри (настоящее имя писателя — Уильям Сидни Портер) родился в 1862 году в семье врача на юге Америки. Детские годы его были омрачены ранним сиротством.

В трехлетнем возрасте он лишился матери, умершей от туберкулеза, попал под опеку своей тетки по отцу. Она содержала школу. Здесь он проучился девять лет, получил хорошее образование, приохотился к чтению, познакомился с романами Ч. Диккенса, У. Коллинза, В. Скотта, А. Дюма.

Портеру рано пришлось думать о собственном заработке, поскольку его отец после смерти жены забросил врачебную практику, пристрастился к спиртному, стал ненадежным кормильцем семьи.

Пятнадцатилетним юношей Портер становится дипломированным фармацевтом, затем отправляется в далекий Техас, «посвящается в ковбои». Там основательно изучает испанский, французский, немецкий языки. Жизнь писателя и его творческая судьба были нелегкими. Писательская деятельность О. Генри продолжалась недолго, но плодотворно, он написал множество рассказов. Умер в Нью-Йорке в 1910 году. Прошло почти сто лет, но его произведения

до сих пор остаются любимыми. Они привлекают читателя как источник добра и человечности, они радуют, увлекают, пробуждают добрые чувства.

По Ф. Золотаревской

Вопросы и задания

1. Известны ли вам рассказы О. Генри? Какие именно?
2. Прочитайте рассказ «Дары волхвов» в переводе Е. Калашниковой и подумайте, каким чувством пронизано это произведение писателя.
3. Подготовьте инсценированное чтение рассказа или пересказ от лица одного из героев (на выбор).

Дары волхвов

Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленщиком, мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывала подобная бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра Рождество.

Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают.

Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим самый дом. Меблированная квартирка за восемь долларов в неделю. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность. Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в щель которого не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звука. К сему присовокуплялась карточка с надписью *«М-р Джеймс Диллингхем Юнг»*. *«Диллингхем»* развернулось во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал тридцать долларов в неделю. Теперь, после того как этот доход понизился

до двадцати долларов, буквы в слове «Диллингхем» потускнели, словно не на шутку задумавшись: а не сократиться ли им в скромное и непритязательное «Д»? Но когда мистер Джеймс Диллингхем Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас: «Джим!» — и нежные объятия миссис Джеймс Диллингхем Юнг, уже представленной вам под именем Деллы. А это, право же, очень мило.

Делла кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра Рождество, а у нее только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот все, чего она достигла. На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Ее Джиму! Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему подарить к Рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное, драгоценное, что-нибудь, хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадлежать Джиму.

В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в трюмо восьмидолларовой меблированной квартиры? Очень худой и очень подвижный человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делле, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством.

Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за двадцать секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы.

Надо вам сказать, что у четы Джеймс Диллингхем Юнг было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно — золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другое — волосы Деллы. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы — спе-

циально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения ее величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства, Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы часы из кармана — специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти.

И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового водопада. Они спускались ниже колен и плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но она тотчас же, нервничая и торопясь, принялась снова подбирать их. Потом, словно заколебавшись, с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковер.

Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову — и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу.

Вывеска, у которой она остановилась, гласила: «M-me Sophronie. *Всевозможные изделия из волос*». Делла взбежала на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух.

— Не купите ли вы мои волосы? — спросила она у мадам.

— Я покупаю волосы, — ответила мадам. — Снимите шляпку, надо посмотреть товар.

Снова заструился каштановый водопад.

— Двадцать долларов, — сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу.

— Давайте скорее, — сказала Делла.

Следующие два часа пролетели на розовых крыльях — прошу прощенья за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима.

Наконец она нашла. Без сомнения, это было создано для Джима, и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах, а уж она все в них перевернула вверх дном. Это была платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинными своими качествами, а не показным блеском, — такими и должны быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже можно было признать достойной часов. Как только Делла увидела ее, она поняла, что цепочка должна принадлежать

Джиму. Она была такая же, как сам Джим. Скромность и достоинство — эти качества отличали обоих. Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с восемьюдесятью семью центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе не зазорно будет поинтересоваться, который час. Как ни великолепны были его часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке.

Дома оживление Деллы поулеглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причиненные великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, исполинский труд.

Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась крутыми мелкими локончиками, которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом.

«Ну, — сказала она себе, — Джим не убьет меня сразу, как только взглянет, он решит, что я похожа на хористку с Кони-Айленда. Но что же мне было делать, ах, что же мне было делать, раз у меня был только доллар и восемьдесят семь центов!»

В семь часов кофе был сварен, и раскаленная сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь бараньих котлеток.

Джим никогда не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в руке и уселась на краешек стола поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледнела. У нее была привычка обращаться к Богу с коротенькими молитвами по поводу всяких житейских мелочей, и она торопливо зашептала:

— Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась!

Дверь отворилась, Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в двадцать два года быть обремененным семьей! Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мерзли без перчаток.

Джим неподвижно замер у дверей, точно сеттер, учуявший перепела. Его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не могла понять, и ей стало страшно.

Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрек, ни ужас — ни одного из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда, и лицо его не меняло своего странного выражения.

Делла соскочила со стола и бросилась к нему.

— Джим, милый, — закричала она, — не смотри на меня так! Я остригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если б мне нечего было подарить тебе к Рождеству. Они опять отрастут. Ты ведь не сердишься, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с Рождеством, Джим, и давай радоваться празднику. Если б ты знал, какой я тебе подарок приготовила, какой замечательный, чудесный подарок!

— Ты остригла волосы? — спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт.

— Да, остригла и продала, — сказала Делла. — Но ведь ты меня все равно будешь любить? Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами.

Джим недоуменно оглядел комнату.

— Так, значит, твоих кос уже нет? — спросил он с бессмысленной настойчивостью.

— Не ищи, ты их не найдешь, — сказала Делла. — Я же тебе говорю: я их продала — остригла и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласковее, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать, — продолжала она, и ее нежный голос вдруг зазвучал серьезно, — но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе! Жарить котлеты, Джим?

И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. Будем скромны и на несколько секунд займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше — восемь долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены далее.

Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол.



— Не пойми меня ложно, Делла, — сказал он. — Никакая прическа и стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот сверток, и тогда ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопел.

Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал крик восторга, тотчас же — увы! — чисто по-женски сменившийся потоком слез и стонов, так что потребовалось немедленно применить все успокоительные средства, имевшиеся в распоряжении хозяина дома.

Ибо на столе лежали гребни, тот самый набор гребней — один задний и два боковых, — которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине Бродвея. Чудесные гребни, настоящие черепаховые, с вделанными в края блестящими камешками, и как раз под цвет ее каштановых волос. Они стоили дорого — Делла знала это, —

и сердце ее долго изнывало и томилось от несбыточного желания обладать ими. И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже прекрасных кос, которые украсил бы их вожделенный блеск.

Все же она прижала гребни к груди и, когда, наконец, нашла в себе силы поднять голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала:

— У меня очень быстро растут волосы, Джим!

Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котенок, и воскликнула:

— Ах, Боже мой!

Ведь Джим еще не видел ее замечательного подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости.

— Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, покуда нашла это. Теперь можешь хоть сто раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе.

Но Джим, вместо того чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся.

— Делла, — сказал он, — придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты.

Волхвы, те, что принесли дары Младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы.



Рэй Дуглас БРЭДБЕРИ

Род. в 1920 г.

Брэдбери — современный американский писатель-фантаст, автор романов и рассказов, получивших широкую известность. Начал писать с 1943 года, публиковался в периодических изданиях. Первый сборник рассказов вышел в 1947 году. Репутацию мастера научной фантастики Брэдбери принесли «Марсианские хроники», где рассказывается о космической войне близкого будущего. События отнесены к 1999—2026 гг. Земляне посягают на завоевание Марса. Для земной цивилизации, переживающей необратимый кризис, эта война завершается полной катастрофой. Атомные взрывы опустошили материки. Уже в этом произведении, как и в последовавшем за ним романе «451° по Фаренгейту», проявились характерные особенности прозы этого автора: соединение фантастики с острым социальным критицизмом, аргументируемое спецификой современной ситуации предвидение будущего. 451° (по шкале Фаренгейта) — это температура, при которой горит бумага. Речь в романе идет о сжигании книг, о запрете на свободу слова, о гибели культуры в условиях тоталитарного режима, облик которого отчетливо вырисовывается в настоящем. Центральный персонаж романа — «пожарник», человек, сжигающий книги. Он говорит: «Это непло-

хая работа. В понедельник книги Эдны Миллей, в среду — Уитмена, в пятницу — Фолкнера. Сжигать в пепел, затем сжечь даже пепел. Таков наш профессиональный долг». Людям не дают думать, размышлять над своей судьбой («Не дай Бог, если они начнут делать выводы и обобщения»). Насаждается интеллектуальный стандарт; людей, читающих книги, объявляют сумасшедшими. Культивируется тип человека, утратившего свое лицо, свою неповторимость. Вместо него появляется манекен, бездуховное существо, прочными узами связанное с экраном телевизора — источником всех его представлений о происходящем. Именно такая ситуация подмены живого существа, подлинной жизни бездушным механизмом, роботом возникает во многих рассказах Брэдбери («Вельд», «Превращение»).

Как и другие мастера американской художественной футурологии (Курт Воннегут, Роберт Шекли), Брэдбери пишет о пагубных для человечества последствиях антигуманного техницизма, о том, что на современной стадии научно-технической революции многие из ее открытий обернулись бедствием для людей. Брэдбери с большой силой передал атмосферу 50-х годов, когда тень атомной войны нависла над Землей. В «Марсианских хрониках» передано чувство страха, охватившего людей, живущих в напряженном ожидании катастрофы. Один из персонажей — рядовой налогоплательщик по фамилии Причард — во что бы то ни стало хочет покинуть Землю и вместе с космонавтами улететь на Марс: «любой здравомыслящий человек мечтает унести ноги с Земли. Не позже чем через два года на Земле разразится атомная мировая война, и он вовсе не намерен дожидаться, когда это произойдет». Человек хочет быть «подальше от войн и цензуры, от бюрократии и воинской повинности, от правительства, которое не дает шагу шагнуть без разрешения, подмяло под себя и науку, и искусство!».

При всей горькой остроте содержащихся в ней откровений проза Брэдбери поэтична. В его рассказах и романах звучат предостережения, обращенные к людям, страх за их будущее, боль и печаль, редко надежда. Возникают картины опустошенной земли, высохших водоемов, одиночества

тех, кто случайно остался в живых (рассказ «Каникулы»). Брэдбери исполнен сострадания к людям, он любит их, что рождает лиризм его прозы.

Н. Михальская

РАДОСТЬ ПИСАТЬ

Пыл. Увлеченность. Как редко приходится слышать эти слова. Как редко встречается то и другое в жизни и даже в творчестве. И все же, попроси меня любой писатель назвать самое главное в нем как в писателе, попроси назвать то, что побуждает его придавать материалу ту, а не другую форму и несет его туда, куда он хочет попасть, ответом ему будет: твой пыл, твоя увлеченность.

У каждого из вас свои любимые писатели, у меня свои: Диккенс, Марк Твен, Томас Вулф, Пикок, Бернард Шоу, Мольер, Бен Джонсон, Уичерли, Сэм Джонсон. Поэты: Джерард Мэнли Хопкинс, Дилан Томас, Поп. Художники: Эль Греко, Тинторетто. Композиторы: Моцарт, Гайдн, Равель, Иоганн Штраус (!). Задумайтесь о любом из них, и вы задумаетесь о сильной или слабой, но увлеченности, страсти, жажде. Задумайтесь, например, о Шекспире или Мелвилле, и вы будете думать о ветре, молнии, громе. Все, кого я назвал, творили увлеченно, одни в больших, другие в малых формах, одни на полотнах ограниченных, другие — на безграничных. Дети богов, они знали, что такое радость творчества, как бы трудно ни бывало временами работать и какими бы недугами ни страдала их частная, скрытая от других жизнь. Подлинно значимое из созданного их душой и руками они передали дальше, нам, и даже теперь, для нас, творения их до предела переполнены звериной силой и интеллектуальной мощью. Ненависть и отчаянье творца, когда он нам о них рассказывает, всегда окрашены чем-то очень похожим на любовь...

Лучший джаз заявляет: «Буду жить вечно; я не верю в смерть».

Лучшая скульптура, вроде головы Нефертити, повторяет снова и снова: «Та, что прекрасна, пришла сюда и осталась здесь навсегда».

Каждый из названных мной сумел схватить капельку этой ртути жизни, заморозил ее навеки и, воспламенившись творческим пламенем, показал на нее и воскликнул: «Ну, не хорошо ли это?» И это было хорошо.

Вы спросите: какое отношение имеет все это к работе писателя над рассказами в наши дни? А вот какое: если вы пишете без увлеченности, без горения, без любви, вы только половина писателя. Это означает, что вы непрестанно оглядываетесь на коммерческий рынок или прислушиваетесь к мнению авангардистской элиты и поэтому не можете оставаться самим собой. Больше того — вы сами себя не знаете. Ибо прежде всего у писателя должно быть беспокойное сердце. Писателя должно лихорадить от волнения и восторга. Если этого нет, пусть работает на воздухе, собирает персики или роет канавы; Бог свидетель, для здоровья эти занятия полезней.

Как давно написали вы рассказ, где проявляется ваша искренняя любовь или подлинная ненависть? Когда в последний раз вы набрались смелости и выпустили на страницы своей рукописи хищного зверя? Что в вашей жизни лучшее и что худшее и когда наконец вы то и другое прокричите или прошепчете?

Когда в последний раз вы, как я, написали рассказ просто из возмущения?

Когда в последний раз вас в двух шагах от вашего дома остановила полиция из-за того, что вам нравится гулять и, может быть, думать ночью? Со мной это случалось довольно часто, и я разозлился и написал «Пешехода», рассказ о временах лет через пятьдесят после нас, когда человека арестовывают и отвозят на психиатрическую экспертизу только потому, что он хочет видеть действительность не по телевизору и дышать воздухом, не прошедшим через кондиционер.

Но хватит о злости и раздражении — как насчет любви? Что вы больше всего на свете любите? Я говорю про вещи, маленькие или большие. Может, трамвай или пару теннисных туфель? Давным-давно, когда мы были детьми, эти вещи были для нас волшебными. В прошлом году я напечатал рассказ о том, как мальчик в последний раз едет в трамвае. Трамвай пахнет летними грозами и молниями,

сиденья в нем точно поросли прохладным зеленым мхом, но он обречен уступить место более прозаическому, менее романтично пахнущему автобусу. Был и другой рассказ, о мальчике, которому хочется иметь пару новых теннисных туфель, потому что в них он сможет прыгать через реки, дома и улицы и даже через кусты, тротуары и собак. Антилопы и газели, мчащиеся летом по африканскому вельду, — вот что такое для него эти туфли. В них скрыта энергия бурных рек и гроз; они, эти теннисные туфли, нужны ему непременно, нужны больше всего на свете.

И вот мой рецепт, он совсем простой. Что вам нужней всего? Что вы любите и что ненавидите? Придумайте кого-нибудь похожего, например, на вас, кто всем сердцем чего-то хочет или не хочет. Пусть он приготовится к бегу. Потом дайте старт. И — следом, не отставая ни на шаг. Вы и оглянуться не успеете, как ваш герой с его великой любовью или ненавистью домчит вас до конца рассказа. Пыл его страстей (а пыл есть не только в любви, но и в ненависти) воспламенит все вокруг него и поднимет на тридцать градусов температуру вашей пишущей машинки.

Все это я адресую в первую очередь писателям, которые уже овладели ремеслом, то есть вложили в себя достаточно грамматики и литературных знаний, чтобы на бегу не споткнуться. Совет этот, однако, годится и для начинающего, чьи шаги могут быть неверными просто из-за плохой техники. Страсть часто выручает даже в таких случаях.

История любого рассказа должна, таким образом, читаться как сообщение о погоде: сегодня холодно, завтра жарко. Сегодня во второй половине дня подожги дом. Завтра вылей холодную воду критики на еще тлеющие угли. Завтра будет время думать, кромсать и переписывать, но сегодня взорвись, разлетись осколками во все стороны, распадись на мельчайшие частицы! Последующие шесть-семь черновиков будут настоящей пыткой. Так почему не насладиться первым в надежде, что ваша радость отыщет в мире и других, кто, читая этот рассказ, зажжется вашим пламенем тоже?

Вовсе не обязательно, чтобы пламя было большое. Вполне достаточно небольшого огонька, такого, как у горящей свечки: тоски по волшебной машине, вроде трамвая, или по

волшебным зверькам, вроде пары теннисных туфель, что кроликами скачут по траве ранним утром. Старайтесь находить для себя маленькие восторги, отыскивайте маленькие огорчения и придавайте форму тем и другим. Пробуйте их на вкус, дайте попробовать и своей пишущей машинке. Когда в последний раз читали вы книжку стихов или, как-нибудь под вечер, выбрали время для одного-двух эссе? <...>

В космосе литературы, куда ни глянь, великие с головой ушли в любовь и ненависть. А как в вашем творчестве, осталось в нем место для таких старомодных вещей, как ненависть и любовь? Если нет, то сколько радости мимо вас проходит! Радости сердиться и разочаровываться, радости любить и быть любимым, радости трогать других и самому испытывать трепет от этого бала-маскарада, который несет нас, кружа, от колыбели до могилы. Жизнь коротка, страданья неисчерпаемы, смерть неизбежна. Но, отправляясь в путь, может быть, стоит взять с собой эти два воздушных шарика, на одном из которых написано Пыл, а на другом — Увлеченность.

Р. Брэдбери

Вопросы

1. Что нового о Брэдбери вы узнали из статьи Н. П. Михальской?
2. В чем старался убедить читателя Р. Брэдбери? Часто ли вы, «отправляясь в путь», берете с собой «два воздушных шарика» — Пыл и Увлеченность?

Каникулы

День был свежий — свежестью травы, что тянулась вверх, облаков, что плыли в небесах, бабочек, что опускались на траву. День был соткан из тишины, но она вовсе не была немой, ее создавали пчелы и цветы, суша и океан, все, что двигалось, порхало, трепетало, вздымалось и падало, подчиняясь своему течению времени, своему неповторимому ритму. Край был недвижим, и все двигалось. Море было неспокойно, и море молчало. Парадокс, сплошной парадокс: безмолвие сросталось с безмолвием, звук со звуком. Цветы качались, и пчелы маленькими каскадами золотого

дождя падали на клевер. Волны холмов и волны океана, два рода движения, были разделены железной дорогой, пустынной, сложенной из ржавчины и стальной сердцевины, дорогой, по которой, сразу видно, много лет не ходили поезда. На тридцать миль к северу она тянулась, петляя, потом терялась в мглистых далях; на тридцать миль к югу пронизывала острова летучих теней, которые на глазах смещались и меняли свои очертания на склонах далеких гор.

Неожиданно рельсы задрожали.

Сидя на путях, одинокий дрозд ощутил, как рождается мерное слабое биение, словно где-то, за много миль, забилось чье-то сердце. Черный дрозд взмыл над морем.

Рельсы продолжали тихо дрожать, и наконец из-за поворота показалась, вдоль по берегу пошла небольшая дрезина, в великом безмолвии зафыркал и зарокотал двухцилиндровый мотор.

На этой маленькой четырехколесной дрезине, на обращенной в две стороны двойной скамейке, защищенные от солнца небольшим тентом, сидели мужчина, его жена и семилетний сынишка. Дрезина проходила один пустынный участок за другим, ветер бил в глаза и развевал волосы, но все трое не оборачивались и смотрели только вперед. Иногда, на выходе из поворота, глядели нетерпеливо, иногда печально, и все время настороженно — что дальше?

На ровной прямой дороге мотор вдруг закашлялся и смолк. В сокрушительной теперь тишине казалось — это покой, излучаемый морем, землей и морем, землей и небом, затормозил и пресек вращение колес.

— Бензин кончился.

Мужчина, вздохнув, достал из узкого багажника запасную канистру и начал переливать горючее в бак.

Его жена и сын тихо глядели на море, слушали приглушенный гром, шепот, слушали, как раздвигается могучий занавес из песка, гальки, зеленых водорослей, пены.

— Море красивое, правда? — сказала женщина.

— Мне нравится, — сказал мальчик.

— Может быть, заодно сделаем привал и поедим?

Мужчина навел бинокль на зеленый полуостров вдали.

— Давайте. Рельсы сильно изъело ржавчиной. Впереди путь разрушен. Придется ждать, пока я исправлю.

— Сколько лопнуло рельсов, столько привалов! — сказал мальчик.

Женщина попыталась улыбнуться, потом перевела свои серьезные, пытливые глаза на мужчину.

— Сколько мы проехали сегодня?

— Неполных девяносто миль. — Мужчина все еще напряженно глядел в бинокль. — Больше, по-моему, и не стоит проходить в день. Когда гонишь, не успеваешь ничего увидеть. Послезавтра будем в Монтерее, на следующий день, если хочешь, в Пало-Альто[1].

Женщина развязала ярко-желтые ленты широкополой соломенной шляпы, сняла ее с золотистых волос и, покрытая легкой испариной, отошла от машины. Они столько ехали без остановки на трясучей дрезине, что все тело пропиталось ее ровным ходом. Теперь, когда машина остановилась, было какое-то странное чувство, словно с них сейчас снимут оковы.

— Давайте есть!

Мальчик бегом отнес корзинку с припасами на берег.

Мать и сын уже сидели перед расстеленной скатертью, когда мужчина спустился к ним; на нем был строгий костюм с жилетом, галстук и шляпа, как будто он ожидал кого-то встретить в пути. Раздавая сандвичи и извлекая маринованные овощи из прохладных зеленых баночек, он понемногу отпускал галстук и расстегивал жилет, все время озираясь, словно готовый в любую секунду опять застегнуться на все пуговицы.

— Мы одни, папа? — спросил мальчик, не переставая жевать.

— Да.

— И больше никого, нигде?

— Больше никого.

— А прежде на свете были люди?

— Зачем ты все время спрашиваешь? Это было не так уж давно. Всего несколько месяцев. Ты и сам помнишь.

— Плохо помню. А когда нарочно стараюсь припомнить, и вовсе забываю. — Мальчик просеял между пальцами горсть песка. — Людей было столько, сколько песка тут, на пляже? А что с ними случилось?

[1] *Монтерéй, Пáло-Áльто* — небольшие города в штате Калифорния, США.

— Не знаю, — ответил мужчина, и это была правда.

В одно прекрасное утро они проснулись — и мир был пуст. Висела бельевая веревка соседей, и ветер трепал ослепительно белые рубашки, как всегда, поутру блестели машины перед коттеджами, но не слышно ничьего «до свиданья», не гудели уличным движением мощные артерии города, телефоны не вздрагивали от собственного звонка, не кричали дети в чаще подсолнечника.

Лишь накануне вечером он сидел с женой на террасе, когда принесли вечернюю газету, и, даже не развертывая ее, не глядя на заголовки, сказал:

— Интересно, когда мы ему осточертеем и он всех нас выметет вон?

— Да, до чего дошло, — подхватила она. — И не остановишь. Как же мы глупы, правда?

— А замечательно было бы... — Он раскурил свою трубку. — Проснуться завтра, и во всем мире ни души, начинай все сначала!

Он сидел и курил, в руке сложенная газета, голова откинута на спинку кресла.

— Если бы можно было сейчас нажать такую кнопку, ты бы нажал?

— Наверное, да, — ответил он. — Без насилия. Просто все исчезнет с лица земли. Оставить землю и море, и все, что растет, — цветы, траву, плодовые деревья. И животные тоже пусть остаются. Все оставить, кроме человека, который охотится, когда не голоден, ест, когда сыт, жесток, хотя его никто не задевает.

— Но мы-то должны остаться. — Она тихо улыбнулась.

— Хорошо было бы. — Он задумался. — Впереди — сколько угодно времени. Самые длинные каникулы в истории. И мы с корзиной припасов, и самый долгий пикник. Только ты, я и Джим. Никаких сезонных билетов. Не нужно тянуться за Джонсами. Даже автомашины не надо. Придумать какой-нибудь другой способ путешествовать, старинный способ. Взять корзину с сандвичами, три бутылки шипучки, дальше, как понадобится, пополнять запасы в безлюдных магазинах в безлюдных городах, и впереди нескончаемое лето...

Долго они сидели молча на террасе, их разделяла свернутая газета.

Наконец она сказала:

— А нам не будет одиноко?

Вот каким было утро нового мира. Они проснулись и услышали мягкие звуки земли, которая теперь была просто-напросто лугом, города тонули в море травы-муравы, ноготков, маргариток, вьюнков. Сперва они приняли это удивительно спокойно, должно быть, потому, что уже столько лет не любили город, и позади было столько мнимых друзей, и была замкнутая жизнь в уединении, в механизированном улье.

Муж встал с кровати, выглянул в окно и спокойно, словно речь шла о погоде, заметил:

— Все исчезли.

Он понял это по звукам, которых город больше не издавал.

Они завтракали не торопясь, потому что мальчик еще спал, потом муж выпрямился и сказал:

— Теперь мне надо придумать, что делать.

— Что делать? Как... разве ты не пойдешь на работу?

— Ты все еще не веришь, да? — Он засмеялся. — Не веришь, что я не буду каждый день выскакивать из дому в десять минут девятого, что Джиму больше никогда не надо ходить в школу. Все, занятия кончились, для всех нас кончились! Больше никаких карандашей, никаких книг и кислых взглядов босса! Нас отпустили, милая, и мы никогда не вернемся к этой дурацкой, проклятой, нудной рутине. Пошли!

И он повел ее по пустым и безмолвным улицам города.

— Они не умерли, — сказал он. — Просто... ушли.

— А другие города?

Он зашел в телефонную будку, набрал номер Чикаго, потом Нью-Йорка, потом Сан-Франциско.

Молчание. Молчание. Молчание.

— Все, — сказал он, вешая трубку.

— Я чувствую себя виноватой, — сказала она. — Их нет, а мы остались. И радуюсь. Почему? Ведь я должна горевать.

— Должна? Никакой трагедии нет. Их не пытали, не жгли, не мучили. Они исчезли и не почувствовали этого, не узнали. И теперь мы ни перед кем не обязаны. У нас одна обязанность — быть счастливыми. Тридцать лет счастья впереди, разве плохо?

— Но... но тогда нам нужно заводить еще детей!

— Чтобы снова населить мир? — Он медленно, спокойно покачал головой. — Нет. Пусть Джим будет последним. Когда он состарится и умрет, пусть мир принадлежит лошадям и коровам, бурундукам и паукам. Они без нас не пропадут. А потом когда-нибудь другой род, умеющий сочетать естественное счастье с естественным любопытством, построит города, совсем не такие, как наши, и будет жить дальше. А сейчас уложим корзину, разбудим Джима и начнем наши тридцатилетние каникулы. Ну, кто первым добежит до дома?

Он взял с маленькой дрезины кувалду, и пока он полчаса один исправлял ржавые рельсы, женщина и мальчик побежали вдоль берега. Они вернулись с горстью влажных ракушек и чудесными розовыми камешками, сели, и мать стала учить сына, и он писал карандашом в блокноте домашнее задание, а в полдень к ним спустился с насыпи отец, без пиджака, без галстука, и они пили апельсиновую шипучку, глядя, как в бутылках, теснясь, рвутся вверх пузырьки. Стояла тишина. Они слушали, как солнце настраивает старые железные рельсы. Соленый ветер разносил запах горячего дегтя от шпал, и мужчина легонько постукивал пальцами по своему карманному атласу.

— Через месяц, в мае, доберемся до Сакраменто, оттуда двинемся в Сиэтл. Пробудем там до первого июля, июль хороший месяц в Вашингтоне, потом, как станет холоднее, обратно, в Йеллоустон, несколько миль в день, здесь поохотимся, там порыбачим...

Мальчику стало скучно, он отошел к самой воде и бросал палки в море, потом бегал за ними, изображая ученую собаку.

Отец продолжал:

— Зимуем в Таксоне, в самом конце зимы едем во Флориду, весной — вдоль побережья, в июне попадем, скажем, в Нью-Йорк. Через два года лето проводим в Чикаго.

Через три года — как ты насчет того, чтобы провести зиму в Мехико-Сити? Куда рельсы приведут, куда угодно, и если нападем на совсем неизвестную старую ветку — превосходно, поедем по ней до конца, посмотрим, куда она ведет. Когда-нибудь, честное слово, пойдем на лодке вниз по Миссисипи, я об этом давно мечтал. На всю жизнь хватит, не маршрут — находка...

Он смолк. Он хотел уже захлопнуть атлас неловкими руками, но что-то светлое мелькнуло в воздухе и упало на бумагу. Скатилось на песок, и получился мокрый комочек.

Жена глянула на влажное пятнышко и сразу перевела взгляд на его лицо. Серьезные глаза его подозрительно блестели. И по одной щеке тянулась влажная дорожка.

Она ахнула. Взяла его руку и крепко сжала.

Он стиснул ее руку и, закрыв глаза, через силу заговорил:

— Хорошо, правда, если бы мы вечером легли спать, а ночью все каким-то образом вернулось на свои места. Все нелепости, шум и гам, ненависть, все ужасы, все кошмары, злые люди и бестолковые дети, вся эта катавасия, мелочность, суета, все надежды, чаяния и любовь. Правда, было бы хорошо?

Она подумала, потом кивнула. И тут оба вздрогнули.

Потому что между ними (когда он пришел?), держа в руке бутылку из-под шипучки, стоял их сын.

Лицо мальчика было бледное. Свободной рукой он коснулся щеки отца, там, где оставила след слезинка.

— Ты... — сказал он и вздохнул. — Ты... Папа, тебе тоже не с кем играть.

Жена хотела что-то сказать.

Муж хотел взять руку мальчика. Мальчик отскочил назад.

— Дураки! Дураки! Глупые дураки! Болваны вы, болваны!

Сорвался с места, сбежал к морю и, стоя у воды, залился слезами.

Мать хотела пойти за ним, но отец ее удержал:

— Не надо. Оставь его.

Тут же оба оцепенели. Потому что мальчик на берегу, не переставая плакать, что-то написал на клочке бумаги,

сунул клочок в бутылку, закупорил ее железным колпачком, взял покрепче, размахнулся — и бутылка, описав крутую блестящую дугу, упала в море.

«Что, — думала она, — что он написал на бумажке? Что там, в бутылке?»

Бутылка плыла по волнам.

Мальчик перестал плакать.

Потом он отошел от воды и остановился около родителей, глядя на них; лицо ни просветлевшее, ни мрачное, ни живое, ни убитое, ни решительное, ни отрешенное, а какая-то причудливая смесь, словно он примирился со временем, стихиями и этими людьми. Они смотрели на него, смотрели дальше, на залив и затерявшуюся в волнах светлую искорку — бутылку, в которой лежал клочок бумаги с каракулями.

«Он написал наше желание? — думала женщина. — Написал то, о чем мы сейчас говорили, нашу мечту?»

Или написал что-то свое, пожелал для себя одного, чтобы проснуться завтра утром — и он один в безлюдном мире, больше никого, ни мужчины, ни женщины, ни отца, ни матери, никаких глупых взрослых с их глупыми желаниями, подошел к рельсам и сам, в одиночку, повел дрезину через одичавший материк, один отправился в нескончаемое путешествие, и где захотел — там и привал.

Это или не это? Наше или свое?..

Она долго глядела в его лишенные выражения глаза, но не прочла ответа, а спросить не решилась.

Тени чаек парили в воздухе, осеняя их лица мимолетной прохладой.

— Пора ехать, — сказал кто-то.

Они поставили корзину на платформу. Женщина покрепче привязала шляпу к волосам желтой лентой, ракушки сложили кучкой на доски, муж надел галстук, жилет, пиджак и шляпу, и все трое сели на скамейку, глядя в море, — там, далеко, у самого горизонта, поблескивала бутылка с запиской.

— Если попросить — исполнится? — спросил мальчик. — Если загадать — сбудется?

— Иногда сбывается... даже чересчур.

— Смотря чего ты просишь.

Мальчик кивнул, мысли его были далеко. Они посмотрели назад, откуда приехали, потом вперед, куда предстояло ехать.

— До свиданья, берег, — сказал мальчик и помахал рукой.

Дрезина покатила по ржавым рельсам. Ее гул затих и пропал. Вместе с ней вдали, среди холмов, пропали женщина, мужчина, мальчик.

Когда они скрылись, рельсы минуты две тихонько дребезжали, потом смолкли. Упала ржавая чешуйка. Кивнул цветок.

Море сильно шумело.

Вопросы и задания

1. Рассказ «Каникулы» — довольно сложный. Внимательно прочитайте его и подумайте, о чем, сочетая фантастику и реальность, хочет рассказать нам автор, о чем предупредить.
2. Прочитайте рассказ вслух. Почему вокруг была такая странная тишина: «Море было неспокойно, и море молчало»? Почему железная дорога была сложена «из ржавчины»? Почему, наконец, путь был разрушен?
3. Брэдбери рисует картину мира, из которого несколько месяцев назад ушли люди. Что заставило их уйти? Что же происходит с оставшимися? Можно ли быть счастливыми без людей и без привычных дел?
4. О каком мире мечтают отец и мать из этой маленькой семьи? Как строят они свои жизненные планы? Почему заплакал муж и пожелал вернуть все назад: и людей, и суету, и работу, и надежды, и чаянья, и любовь?
5. Как вы думаете, о чем написал мальчик в записке? Почему мать боялась, что в записке сына — не их мечта?
6. Как вы определите смысл рассказа, его название? Что волнует писателя и от чего предостерегают людей его произведения?
7. Что Рэй Брэдбери считает самым главным для писателя? В чем видит «радость писать»?
8. «Одно или два произведения перейдут в следующий век... Я так говорю, потому что вижу, как относятся к моим книгам сегодняшние дети — они любят их не меньше, чем дети прежних десятилетий. Это важней всего», — писал Рэй Брэдбери. Согласны ли вы с писателем? Любите ли вы его произведения? Чем интересны его жизнь и творчество?

ПОРАБОТАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО

ИТОГОВЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Дайте определение термину «баллада» и приведите примеры известных вам баллад писателей русской и зарубежной литературы.
2. Прочитайте самостоятельно любое стихотворение в прозе И. С. Тургенева, расскажите, как вы его понимаете.
3. Составьте устные отзывы на любой самостоятельно прочитанный рассказ.
4. Какие произведения юмористического или сатирического содержания, прочитанные вами в этом году, показались вам занимательными, важными, интересными? Какие из них вы перечитывали повторно?
5. Иллюстрации какого художника вас особенно заинтересовали? Встречались ли вам иллюстрации этого художника в самостоятельно прочитанных книгах? С какими художниками-портретистами и художниками-пейзажистами вы познакомились в этом году? Что прочитали о них? Какие фильмы, спектакли, музыкальные произведения помогли вам лучше понять изучаемые в этом классе произведения?
6. Словари (краткий словарь литературоведческих терминов, справочник имен, справочник по теории литературы) помещены в конце учебника для 7 класса, чтобы ничто не мешало вашему чтению. Удобно ли это? Помогали ли вам эти справочные материалы, сноски? Когда? В чем? Что хотелось бы вам изменить, добавить, сократить в учебнике?
7. К. Г. Паустовский сказал: «Писателем может быть только тот, у кого есть что сказать людям нового, значительного и интересного, тот человек, который видит многое, чего остальные не замечают» («Золотая роза»).

Можете ли вы назвать эпизоды, описания природы, которые вас поразили, удивили, рассказали вам о том, чего раньше вы не замечали, хотя, может быть, и видели в окружающей вас жизни?

8. «...Я убедился в том, что главное для писателя — это с наибольшей полнотой и щедростью выразить себя в любой вещи, даже в таком маленьком рассказе, и тем самым выразить свое время и свой народ», — пишет К. Паустовский в «Золотой розе». Можете ли вы привести пример этому из прочитанных в седьмом классе произведений?
9. Помогли ли вам лучше понять писателя статьи «В лаборатории писателя», «Из воспоминаний о писателе»? Личность какого писателя заинтересовала вас? Расскажите об одном из писателей (на выбор).
10. Стали ли вам интересны литературные игры-кроссворды? Где и когда вы работали с ними: дома или в школе, с товарищами по школе или дома самостоятельно? (См. книгу «Читаем, думаем, спорим...».)
11. Что нового вы узнали о пословицах и поговорках? Использовали ли вы их при изучении литературы в 7 классе? Какие пригодились вам при разговоре с окружающими вас людьми? Чем интересны пословицы разных народов? В каком случае вам приходилось применять пословицы?

Ознакомьтесь и с другими пословицами. Что в них привлекло ваше внимание? Объясните их.

Молдавские пословицы

- Когда горит дом соседа, поливай водою и свой.
- Правду в мешок не спрячешь.
- Дерево с глубоким корнем не боится бури.
- Чистая совесть — самая мягкая подушка.

Эстонские пословицы

- Если своих крыльев не имеешь, то чужие крылья тебя не поднимут.
- Приветливое слово и приветливый человек весь свет обойдут.

- Деньги потерял — досада, здоровье потерял — беда, честь потерял — все утратил.
- Опираясь на колени матери, ребенок быстрее растет.
- Друг — большое сокровище.

Осетинские пословицы

- В хорошем слове благодать целого дня.
- В хоровод не войдешь — плясать не научишься.
- В щедрой руке добро не иссякает.
- Отцовская честь — детям сбережение.
- Кто ошибку не признает, дважды ошибается.

Якутские пословицы

- Сила народа сильнее ледохода на реке.
- Спрашивай не у старого — спрашивай у бывалого.
- Дружба силу добавляет.
- Сила народная все одолеет.

ПРОЧИТАЙТЕ ЛЕТОМ

После завершения курса литературы в 7 классе продолжите чтение дома: познакомьтесь с другими произведениями, прочитайте предлагаемые книги. Вспомните слова А. С. Пушкина:

Укрывшись в кабинет,
Один я не скучаю
И часто целый свет
С восторгом забываю...

Былины. Сборники: «Былины. Русские народные сказки», «Былины», «Живая вода», «Пословицы русского народа» и др.

Памятник средневековой литературы «Песнь о Роланде». «„Песнь о Роланде“ — один из самых замечательных памятников народного поэтического творчества, — пишет И. Эренбург. — Пусть эта старая и прекрасная Песнь поможет русским юношам и девушкам понять сердце Франции. Вот он звенит, Олифант — рог Роланда. Он зовет на помощь верных друзей...»

Сборник «Древнерусские повести». Д. С. Лихачев. «Земля родная». Стихотворения М. Ломоносова, Г. Державина. Сказ Б. Шергина «Слово о Ломоносове». «Русские поэты» (антология) и др.

А. Пушкин. Поэмы «Полтава», «Медный всадник», повесть «Арап Петра Великого». Подумайте, каким предстает Петр в этих произведениях. Издано много книг о Пушкине для взрослых и детей. Познакомьтесь с некоторыми из них: Ю. Тынянов. «Пушкин», М. Цветаева. «Мой Пушкин», с книгами М. Басиной, С. Гейченко и др. (на выбор).

М. Лермонтов. Поэмы и стихотворения, «Беглец», «Мцыри». О каких героях рассказывает нам автор? Прочитайте рассказы И. Андроникова о Лермонтове.

Н. Гоголь. Сборник «Миргород». Вспомните содержание «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Н. Некрасов. «Орина — мать солдатская», «Русские женщины», «Мороз — Красный нос», «Саша», «Дедушка».

М. Салтыков-Щедрин. Сказки. Подготовьте одну из сказок для конкурса на лучший пересказ сатирической сказки.

Л. Толстой. «Детство», «Юность». Подготовьте рассказ о главном герое Николеньке на основе прочитанного, пользуясь планом.

И. Бунин. Рассказы. Стихотворения. Познакомьтесь с книгой: А. Бабореко. «И. А. Бунин» (материалы для биографии).

А. Чехов. Рассказ «Тоска» и др. (на выбор). Какие герои чеховских рассказов вызвали у вас сочувствие, сострадание? Познакомьтесь с рассказами К. Чуковского о Н. Некрасове и с воспоминаниями об А. Чехове.

М. Горький. «В людях». Воспоминания о М. Горьком, его письма.

В. Маяковский. Стихотворения Маяковского и книги о нем. Подготовьте выставку книг и рисунков поэта.

Читайте стихотворения, рассказы, повести писателей XX века. Подготовьте отзыв на один из рассказов или стихотворений Л. Андреева, А. Платонова, А. Твардовского, Ф. Абрамова, Е. Носова, Ю. Казакова и т. д. (на выбор).

Джек Лондон. «Мексиканец». Джек Лондон в книге «Я много жил» пишет: «Изучайте приемы писателей, завоевавших известность... Они стали мастерами, и в их произведениях можно найти секреты их мастерства... И работайте. Запишите заглавными буквами — РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ все время. Старайтесь познать тайны земли, вселенной, материи и духа, мерцающего в этой материи, во всем — от ничтожной личинки до божества».

Какие размышления вызывает у вас этот совет писателя?

Эдгар По. Рассказы и повести (на выбор).

Джеймс Олдридж. «Акулья клетка» (продолжение повести «Последний дюйм»).

Рэй Брэдбери. «Ветер», «Звук бегущих ног», «Пришло время дождей», «Ревун», «Космонавт», «И грянул гром», «Машина времени», «Здравствуй и прощай» (на выбор). Подумайте, каковы отношения взрослых и детей в рассказах Р. Брэдбери, Л. Толстого, И. Бунина, А. Платонова и в вашей семье. В чем сходство и различие?

В. Железников. «Чудак из 6 „б“», «Каждый мечтает о собаке», «Хорошим людям — доброе утро», В. Каверин. «Два капитана», Л. Кассиль. «Великое противостояние», А. Мешковский. «Не опоздай к приливу», Э. Цюрюпа. «Умеешь ли ты читать?», Дж. Сэлинджер. «Человек, который смеялся», Н. Смирнов-Сокольский. «Рассказы о книгах», К. Чуковский. «Люди и книги», В. Порудоминский. «Половина жизни моей».

И. Смольников. «Середина столетия», сборник «Они питали мою музу»; «Русские писатели» (биобиблиографический словарь); «Русские поэты» (антология русской поэзии).

Существует много книг-воспоминаний, серии книг ЖЗЛ, «Писатель в русской критике» и т. д. Не забывайте о них, читайте, например, «А. Пушкин в воспоминаниях современников», то же о М. Лермонтове, И. Тургеневе, М. Горьком, М. Е. Салтыкове-Щедрине и пр.; В. Порудоминский о В. Дале, Ю. В. Лебедев об И. Тургеневе, К. Тюнькин о М. Салтыкове-Щедрине.

Энциклопедии: Лермонтовская энциклопедия; А. С. Пушкин. Школьный энциклопедический словарь. Под ред. В. И. Коровина.

Знакомство с такими книгами поможет составить более полное представление о личности писателей, их жизни и творчестве.

НА ПУТИ К ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ

Выразительное чтение и тем более художественное профессиональное чтение помогает лучше понять произведение, но для того, чтобы выразительно, правильно прочитать текст, нужны знания и умения.

Прислушаемся к высказываниям читателей, актеров, чтецов...

Как развитие литературы имеет свою историю, традиции и корни, так и устное художественное слово прошло длинный путь, прежде чем оформиться в самостоятельное искусство.

В печали и в радости наш народ обращался к выразительному русскому слову, находя в нем необходимые отзывы, бодрость и уверенность в своих силах... Сколько народных сказителей исходило Древнюю Русь, воспевая богатырскую удаль русских людей.

Несомненное влияние на развитие искусства художественного слова имели выступления авторов с чтением своих произведений. Авторские чтения становятся особенно популярными с начала девятнадцатого столетия.

Мы знаем, по свидетельству современников, о чтении своих произведений поэтами допушкинской поры. Оно... отличалось предельной распевностью и скандировкой. Пушкин в своем чтении выявлял прежде всего мысль, являющуюся основой произведения. <...> Он первый начал просто, понятно читать, и потому его чтение неизменно производило глубокое впечатление на слушателей.

А. Пушкин. «Какое действие произвело на всех на нас это чтение, — передать невозможно. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Озерова, которых мы все знали наизусть... — пишет один

из очевидцев М. П. Погодин, — вместо высокопарного языка богов мы услышали простую, ясную, обыкновенную и вместе с тем поэтическую, увлекательную речь! Первые явления выслушали тихо и спокойно, или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорием нас ошеломила... А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков: „Да ниспошлет Господь покой его душе, страдающей и бурной“, — мы все как будто обеспамятовали, кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет. То молчание, то взрыв восклицаний, например при стихах Самозванца: „Тень Грозного меня усыновила“».

Н. Гоголь. Рассуждая о публичных чтениях и всячески приветствуя начало литературных вечеров, Гоголь подчеркивает: «Прочесть как следует произведение лирическое — вовсе не безделица: для этого нужно долго его изучать; нужно разделить с поэтом высокое ощущение, наполнявшее его душу: нужно и душою и сердцем почувствовать всякое слово его — и тогда уже выступать на публичном чтении».

«Читал Гоголь превосходно, — вспоминает И. С. Тургенев, — Гоголь... поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет — есть ли тут слушатели и что они думают.

Эффект выходил необычайный — особенно в комических, юмористических местах; не было возможности не смеяться — хорошим, здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренне дивясь ей, все более и более погружаться в самое дело — и лишь изредка на губах и около глаз чуть заметно трепетала лукавая усмешка мастера».

М. Горький. Прекрасным исполнителем своих произведений был Алексей Максимович Горький. <...> В. И. Качалов в «Воспоминаниях и портретах» записывает: «Наступил день, навсегда и в подробностях врезавшийся в память. Горький читает всей труппе Художественного те-

атра „На дне“. Читает прекрасно. Живыми встают, сразу запоминаются действующие лица. <...> Какая правдивость внутренних характеристик, какое разнообразие и богатство характерных для каждого лица интонаций!»

В. Маяковский. Владимир Маяковский проложил широкую дорогу искусству звучащего слова. <...> Читал он замечательно прежде всего потому, что умел предельно точно передать интонацией заложенную в стихе идею, мысль. <...> «Его могучий голос буквально гремел по всему зданию, — вспоминали свидетели его выступлений. — Это была не декламация, с которой мы знакомы в Европе, это был взрыв энергии, чувства, силы и, наконец, просто человеческой души. Слушатели, захваченные необычайно силой человека, который говорил, обращаясь к ним, и голос которого колебал колонны зала, были совершенно потрясены...»

Свои произведения Маяковский читал на редкость ярко, великолепно, сочетая ритмические особенности стиха с его смысловой основой.

Всеволод Аксенов.
«Искусство художественного слова»

Авторы книг и статей по художественному чтению подчеркивают необходимые условия для настоящего чтения, назовем некоторые из них:

— уяснить авторский замысел;

— определить подтекст (не увидите ли вы в тексте скрытую автором иронию, улыбку, осуждение, осмеяние и пр.);

— правильно найти интонацию, ритм;

— определить место психологических пауз;

— не допускать «скомканного начала», «недоговоренного» конца, вялости или небрежности слова;

— следить за внятностью и логикой речи и т. д.

«Думаю, что одним из основных условий, столь необходимых для чтеца-рассказчика, является любовь к литературе. Для меня литература — это искусство высочайшего выражения человеческого гения, — пишет Д. Журавлев. — Любовь к литературе у меня началась со страстного, всепоглощающего увлечения чтением. Мне хочется обратиться к молодым товарищам, увлеченным искусством художественного слова, с дружеским советом. Решив начать работу над каким-нибудь произведением Пушкина или Гоголя, Чехова или Шолохова и Твардовского, — будь то отрывок из крупного произведения, отдельный рассказ или стихи, — как можно глубже и шире изучайте творчество этих авторов, стараясь ощутить неповторимую индивидуальность каждого писателя, его творческий голос».

Вопрос и задание

Вы прочитали рассказы, высказывания, воспоминания о чтении писателей, познакомились с советами чтецов... Что хотелось бы вам учесть при подготовке выразительного чтения стихотворных и прозаических произведений в первую очередь?

Подготовьте на основе прочитанного памятку-словарь, например: ритм — ... , пауза — ... , интонация — ... , дикция — ... , подтекст — ... и пр.

СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕСТА РОССИИ[1]

А. С. Пушкин

Квартира Пушкина на Арбате. *Москва, Арбат, дом 53.*

Музей находится в доме, где Пушкин жил с начала февраля до середины мая 1831 г. Дом принадлежал старинному дворянскому семейству Хитровó (из письма поэта: «Пиши мне на Арбат в дом Хитровой»).

В первом этаже — 8 музейных залов. В них рукописи, письма поэта, чертежи дома, журналы, книги, гравюры, все, что входит в духовный мир пушкинской Москвы.

Мемориальным центром музея являются пушкинские комнаты второго этажа. Эти комнаты оставлены почти пустыми. В самой большой комнате воссоздан интерьер 1830-х гг. Именно в этой комнате был отпразднован «мальчишник» — прощание с холостой молодостью. На следующий день состоялся свадебный ужин. 27 февраля — первый семейный прием у Пушкиных. Этот музей — один из интереснейших литературных музеев Москвы.

М. Ю. Лермонтов

Дом-музей М. Ю. Лермонтова. *Москва, Молчановка, дом 2.*

Музей открыт в феврале 1981 г. Обстановка дома кажется живой — старинная мебель, портреты, музыкальный инструмент создают неповторимую атмосферу. Поэт

[1] Материалы подготовлены по книге: Стародуб К. Литературная Москва: историко-краеведческая энциклопедия для школьников. — М., 1997.

написал здесь 100 стихотворений, драматические произведения, начал поэму «Демон». Музейные экспонаты вводят в духовный мир юного Лермонтова.

Л. Н. Толстой

Музей-усадьба в Хамовниках. *Москва, ул. Толстого, дом 21.*

Дом-музей был открыт в 1921 г. В этом доме Л. Н. Толстой жил с 1882 по 1901 г. В доме сохранилась подлинная обстановка середины 1890-х гг. В кабинете писателя художники Н. Н. Ге и И. Е. Репин писали с него портреты. Главная комната в доме — кабинет писателя — угловая, маленькая, с низким потолком. Пол затянут серым солдатским сукном, приглушающим звуки. Мебель обтянута клеенкой, столь искусно сделанной, что обивка кажется кожаной. Между окнами и дверью — знаменитый письменный стол с барьерчиком-решеточкой. На столе одна свеча.

Из ста произведений, созданных писателем в Москве, шестьдесят написаны в этом доме. Здесь бывали Горький



Музей Л. Н. Толстого. *Москва. Ул. Пречистенка, д. 11*

и Чехов, Короленко и Островский. Широкий круг знакомых, друзей собирался в большой гостиной на втором этаже, там мы видим шахматы (Толстой любил играть в шахматы). В углу рояль, на котором играли Рубинштейн, Рахманинов, Римский-Корсаков.

А. П. Чехов

Дом-музей А. П. Чехова. *Москва, Садово-Кудринская ул., дом 6.*

В этом доме писатель жил с 1886 по 1890 г. Дом этот он называл «домом-комодом», так как два тяжелых эркера и высокая шатровая крыша делали его похожим на старинный комод. Он писал: «Живу в Кудрине... в доме Корнеева, похожем на комод. Цвет дома либеральный, т. е. красный». На двери табличка: «Докторъ А. П. Чехов».

Здесь мы видим фотографию школы, построенной на средства Чехова в Мелихове, фотографию писателя с артистами Художественного театра.

В этом доме А. П. Чехов написал сто рассказов, повесть «Степь», пьесу «Иванов», водевили «Медведь», «Свадьба».



Дом-музей А. П. Чехова.
Москва. Ул. Садовая-Кудринская, д. 6

В эти годы вышел сборник «В сумерки», за который он был удостоен Пушкинской премии Академии наук.

Наибольший интерес представляют мемориальные комнаты первого этажа (кабинет, спальня писателя, комната его младшего брата Михаила, картины Левитана, рисунки его сестры Марии и брата Михаила).

В этом доме у него созрело решение ехать на Сахалин. Результатом поездки стала книга «Остров Сахалин».

М. Горький

Музей-квартира М. Горького. *Москва, ул. Малая Никитская, дом 6/2.*

Музей открыт в 1965 г. Здесь Горький с семьей жил в 1931—1936 гг. В музее сохраняется мемориальная обстановка прихожей, секретарской, лестничного холла, спальни, столовой, библиотеки, а главное, кабинета писателя. Фонды музея насчитывают около 2 тысяч единиц хранения и около 10 тысяч книг.



Дом-музей М. Горького.
Москва. Ул. Малая Никитская, д. 6/2

В эти годы писатель трудился над 4-томной эпопеей «Жизнь Клима Самгина». Он говорил: «...пишу нечто „прощальное“, некий роман-хронику сорока лет русской жизни...». Тороплюсь, ибо — здоровье трещит...

В это же время он пишет пьесы «Егор Булычов и другие», «Достигаев и другие», второй вариант «Вассы Железновой» и др.

В экспозиции музея наиболее интересен кабинет писателя. Там находится большой письменный стол, не нем чернильница, очки в роговой оправе, нож с печаткой, ножницы и т. д. В кабинете, в застекленных шкафах над камином хранится очень ценное собрание миниатюрной японской скульптуры. Примечательны картины, находящиеся в доме, но из ценных вещей самый большой интерес представляет библиотека, насчитывающая около 10 тысяч томов.

С. А. Есенин

Музей С. А. Есенина. *Москва, Большой Строченовский пер., дом 24, стр. 2.*



Музей С. А. Есенина.
Москва. Большой Строченовский пер., д. 24, строение 2

Музей С. А. Есенина находится в доме, где поэт останавливался у отца (приказчика мясной лавки купца Крылова в Замоскворечье). Здесь же он поселился, когда приехал в Москву в 1911 г.

В. В. Маяковский

Государственный музей В. В. Маяковского. *Москва, Лубянский пр., дом 3/6.*

Музей В. В. Маяковского открыт в 1974 г. Он является крупнейшим хранилищем наследия поэта. В его фонде насчитывается более 40 тыс. экспонатов. В этом доме, в «комнатенке-лодочке», Маяковский жил и работал на протяжении 11 лет — с 1919 по 1930 г. Сюда приходили к нему поэты П. Асеев, Б. Пастернак, кинорежиссер С. Эйзенштейн и другие деятели культуры.

В музее хранится выставка «20 лет работы», устроенная поэтом в 1930 г. В этом доме трагически оборвалась жизнь В. Маяковского.

Б. Л. Пастернак

Дом-музей Б. Л. Пастернака. *Поселок Переделкино, ул. Павленко, дом 3.*

Музей был открыт в 1990 г. на даче Литфонда в Переделкине, где поэт жил и работал с 1939 по 1960 г. В этом доме он скончался. Об этой земле он писал:

У нас весною до зари
Костры на огороде, —
Языческие алтари
На пире плодородья...

Я за работой земляной
С себя рубашку скину,
И в спину мне ударит зной
И обожжет, как глину.

Экспозиция музея знакомит нас с жизненным и творческим путем поэта.

Аксёнов Всеволод Николаевич (1898—1960) — мастер художественного слова, автор книги «Искусство художественного слова», актер Малого театра, исполнитель произведений А. Пушкина, В. Маяковского, С. Есенина, А. Твардовского.

Анакреóнт (Анакреон) (ок. 570—478 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик.

Андрóников (Андроникашвили) Ираклий Луарсабович (1908—1990) — писатель, литературовед, мастер устного рассказа, автор книг «Рассказы литературоведа», «Я хочу рассказать вам...» и др.

Антокóльский Павел Григорьевич (1896—1978) — поэт, автор поэм, стихотворных сборников «Сын», «О Пушкине» и т. д.

Ахмáтова Анна Андреевна (1889—1966) (настоящая фамилия *Горенко*) — русский поэт, автор стихотворных циклов «Вечер», «Подорожник», «Ветер войны», поэмы «Реквием» и многих других стихотворений, статей о Пушкине, переводов поэзии Древнего Востока, Древнего Египта и пр.

Бальмóнт Константин Дмитриевич (1867—1942) — поэт, с 1920 года в эмиграции, автор стихотворных сборников «Под северным небом», «Будем как солнце», воспоминаний, путевых очерков, переводов и др.

Белúнский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — критик, автор статей, рецензий («Сочинения Александра Пушкина», «Стихотворения М. Лермонтова» и др.).

Бенуá Александр Николаевич (1870—1960) — художник, историк искусства, автор иллюстраций к «Медному всаднику» А. Пушкина и др.

Беранжé Пьер Жан (1780—1857) — французский поэт, автор стихотворений, песен.

Берггóльц Ольга Федоровна (1910—1975) — поэтесса, автор стихотворных сборников «Ленинградская тетрадь» и др., книг лирической прозы.

Билúбин Иван Яковлевич (1870—1942) — художник, автор иллюстраций к былинам, сказкам, произведениям А. Пушкина, М. Лермонтова и других писателей.

Благóй Дмитрий Дмитриевич (1893—1984) — литературовед, пушкинист (книга «Творческий путь Пушкина»), автор статей, книг об А. Фете, А. Ахматовой, А. Блоке, М. Цветаевой.

Бóнди Сергей Михайлович (1891—1983) — литературовед, пушкинист, автор книги «О чтении рукописей Пушкина» и др.

Брю́сов Валерий Яковлевич (1873—1924) — русский поэт, автор книг стихотворений («Городу и миру», «Венок» и др.), основоположник русского символизма (направления в европейском и русском искусстве).

Бурлю́к Давид Давидович (1882—1967) — поэт, художник, с 1920 года в эмиграции, автор книг о Горьком, Маяковском («Маяковский и его современники» и др.).

Васнецóв Виктор Михайлович (1848—1926) — художник, автор картин на бытовые темы («С квартиры на квартиру»), картин и иллюстраций к народным сказкам, былинам («Аленушка», «Богатыри»), иллюстраций к пушкинским и лермонтовским произведениям.

Верéйский Орест Георгиевич (1915—1993) — художник, график, автор иллюстраций к произведениям М. Шолохова, А. Твардовского.

Вересáев Викентий Викентьевич (1867—1945) — писатель, автор рассказов, повестей и автобиографических сочинений («Без дороги», «Гоголь в жизни», «Спутники Пушкина» и др.).

Винокýров Евгений Михайлович (1925—1993) — поэт, автор поэтических сборников («Лицо человеческое», «Ритм» и др.), статей о литературе.

Вя́земский Петр Андреевич (1792—1878) — поэт, критик, автор стихотворений («Уныние», «Негодование», «Тройка мчится, тройка скачет...» и др.).

Гéрцен Александр Иванович (1812—1870) — писатель, с 1847 года в эмиграции, автор повестей («Доктор Крупов», «Сорока-воровка», «Кто виноват?» и др.).

Григорóвич Дмитрий Васильевич (1822—1900) — писатель, автор повестей, рассказов («Деревня», «Гуттаперчевый мальчик» и др.).

Гудзе́нко Семен Петрович (1922—1953) — поэт, автор сборников стихов («Однополчане», «Курская тетрадь», «Армейские записные книжки» и др.).

Гу́дзий Николай Каллиникович (1887—1965) — литературовед, исследователь древнерусской литературы («Слово о полку Игореве», «Сочинения Аввакума»), творчества Л. Н. Толстого.

Даль Владимир Иванович (1801—1872) — писатель, автор рассказов, повестей, собиратель пословиц, составитель Толкового словаря живого великорусского языка.

Добролю́бов Николай Александрович (1836—1861) — критик, автор статей о М. Салтыкове-Щедрине, А. Пушкине, А. Кольцове, И. Никитине и др.

Долмато́вский Евгений Аронович (1915—1994) — поэт, автор сборников стихотворений, переводов, рассказов, песен («Лирика», «Если бы парни всей земли...» и др.).

Достое́вский Федор Михайлович (1821—1881) — писатель, автор романов («Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Идиот», «Подросток»), повестей («Двойник», «Неточка Незванова») и т. д.

Дру́нина Юлия Владимировна (1924—1991) — поэтесса, автор сборников стихотворений («В солдатской шинели», «Разговор с сердцем» и др.).

Есе́нин Сергей Александрович (1895—1925) — поэт, автор стихотворений, поэм, сборников стихотворений («Гой ты, Русь моя родная...», «Письмо матери», «Клен ты мой опавший...» и др.).

Жуко́вский Василий Андреевич (1783—1852) — поэт, автор стихотворений, переводов из произведений Гёте, Шиллера, Байрона, В. Скотта, автор элегий, песен, романсов, посланий, баллад.

Журавлёв Дмитрий Николаевич (1900—1990) — артист, работал в Театре Вахтангова, с 1931 года на эстраде читал произведения А. Пушкина, В. Маяковского и других поэтов XIX и XX веков.

Калю́жный Александр Мефодиевич (1853—1939) — народоволец, после освобождения с каторги работал статистом в Тифлисе, где в 1891 г. познакомился с Горьким и подружился с ним.

Катана́н Василий Абгарович (1902—1980) — литературовед, сотрудничал с Маяковским, автор книг «Краткая летопись жизни и работы В. В. Маяковского», «Маяковский. Литературная хроника».

Кача́лов Василий Иванович (1875—1948) — русский актер, с 1900 года работал во МХАТе.

Константи́нов Федор Денисович (1910—1997) — график, иллюстратор произведений Пушкина и Лермонтова, Гюго и Байрона.

Кропо́ткин Петр Алексеевич (1842—1921) — князь, русский революционер.

Густо́диев Борис Михайлович (1878—1927) — художник, автор картин купеческого быта, театральный художник, иллюстратор.

Лакши́н Владимир Яковлевич (1933—1993) — критик, литературовед, автор многих книг, воспоминаний, работал с Твардовским в журнале «Новый мир».

Ле́бедев Александр Игнатьевич (1830—1898) — график, автор карикатур, жанровых иллюстраций к произведениям Н. А. Некрасова.

Макси́мов Павел Хрисанфович (1892—1977) — писатель, с 1910 года находился в переписке с Горьким, автор книги «О Горьком. Письма А. М. Горького и встречи с ним».

Ма́йков Аполлон Николаевич (1821—1897) — поэт, автор стихотворений, переводов, поэм, эпиграмм, драм в стихах и др.

Марша́к Самуил Яковлевич (1887—1964) — поэт, автор стихотворений для детей («Сказка о глупом мышонке», «Почта», «Багаж», «Вот какой рассеянный»), автор сатирических стихотворений, эпиграмм, переводов.

Мережко́вский Дмитрий Сергеевич (1866—1941) — писатель, с 1920 года в эмиграции, автор стихотворений, критических статей.

Наровча́тов Сергей Сергеевич (1919—1981) — поэт, автор сборников стихотворений, поэм, рассказов, статей.

Но́виков Иван Алексеевич (1877—1959) — писатель, автор романов, книг, рассказов («Пушкин в изгнании»), пьес, стихотворений.

Пано́ва Вера Федоровна (1905—1973) — русская писательница, автор повестей, рассказов, романов («Спутники», «Проводы белых ночей», «Заметки литератора» и др.).

Паусто́вский Константин Георгиевич (1892—1968) — писатель, автор повестей («Северная повесть»), романов, сказок, заметок о писательском труде («Золотая роза»), пьес, воспоминаний.

Плетнёв Петр Александрович (1792—1866) — поэт, критик, автор посланий, статей («Заметка о сочинениях Жуковского и Батюшкова», «И. А. Крылов») и др.

Плеще́ев Алексей Николаевич (1825—1893) — поэт, автор стихотворений («Вперед, без страха и сомненья...», «По чувствам братья мы с тобой...» и др.).

Прихо́дько Владимир Александрович (род. в 1935 г.) — поэт, автор детских книг, стихотворений.

Проко́фьев Александр Андреевич (1900—1971) — поэт, автор книг, стихов («Полдень», «Победа»), поэм («Россия», «Юность»), статей.

Разумо́вский Юрий Георгиевич (1919—2000) — поэт, автор сборников стихотворений («Радуга», «Вереница», «Наедине»), переводов, детских книг.

Ре́пин Илья Ефимович (1844—1930) — русский художник, автор картин («Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Иван Грозный и сын его Иван»), портретов, иллюстраций и т. д.

Ри́мский-Ко́рсаков Николай Андреевич (1844—1908) — композитор, автор опер («Майская ночь», «Псковитянка», «Садко», «Золотой петушок»).

Россоли́мо Григорий Иванович (1860—1928) — врач, один из основоположников детской неврологии в СССР.

Сельви́нский Илья Львович (1899—1968) — поэт, автор стихотворений, поэм, пьес в стихах («Царевна-Лебедь» и др.).

Серо́в Владимир Александрович (1910—1968) — художник, автор картин, посвященных нашей истории.

Си́монов Константин (Кирилл) Михайлович (1915—1979) — писатель, автор книг стихотворений («С тобой и без тебя», «Фронтовые стихи» и др.), поэм, романов, пьес («Дни и ночи» и др.).

Скотт Вальтер (1771—1832) — английский писатель, автор поэм, романов («Роб Рой», «Квентин Дорвард», «Айвенго» и др.).

Соллогу́б Владимир Александрович (1813—1882) — писатель, автор рассказов, повестей, стихотворений.

Сологу́б Федор Кузьмич (1863—1927) — поэт, автор стихотворений, новелл, легенд, воспоминаний, переводов.

Станисла́вский Константин Сергеевич (1863—1938) — режиссер, актер, педагог, теоретик театра, основатель Московского Художественного театра.

Су́риков Василий Иванович (1848—1916) — русский художник, автор картин («Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова» и пр.), иллюстраций к «Борису Годунову» и др.

Сурко́в Алексей Александрович (1899—1983) — поэт, автор стихотворений, баллад, песен («Наступление», «Ровесники», «Землянка», «Темная ночь» и др.).

Тю́тчев Федор Иванович (1803—1873) — поэт, автор стихотворений («Весенняя гроза», «Чародейкою Зимою...», «Умом Россию не понять...»), переводов Байрона, Гёте, Шекспира, Шиллера и др.

У́ткин Иосиф Павлович (1893—1944) — поэт, автор поэтических сборников, поэм («О родине. О дружбе. О любви», «Повесть о рыжем Мотэле», «Милое детство» и др.).

Фет Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — поэт, автор циклов стихотворений, поэм, баллад, воспоминаний («Весна», «Осень» и др.).

Цвета́ева Марина Ивановна (1892—1941) — поэт, с 1922 по 1939 год в эмиграции, автор стихотворений и поэтических сборников («Версты», «Волшебный фонарь», «Царь-девица», «Молодец»).

Чернышёвский Николай Гаврилович (1828—1889) — писатель, общественный деятель, автор романа «Что делать?».

Чуко́вский Корней Иванович (1882—1969) — писатель, литературовед, автор сказок для детей («Тараканище», «Айболит», «Телефон» и др.), книги «От двух до пяти», книг о писателях («Мастерство Некрасова», «О Чехове»), о языке («Живой, как жизнь»).

Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888—1982) — писательница, автор многих романов, пьес, рассказов, очерков («И. А. Крылов», «Шевченко» и др.), статей, дневников, воспоминаний (о Д. Шостаковиче, С. Рахманинове и др.).

Шмаринов Дементий Алексеевич (1907—1995) — художник, автор иллюстраций к произведениям А. Пушкина, Л. Толстого.

Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967) — писатель, автор романов, повестей, рассказов, поэтических сборников («Люди и годы» и др.).

Юзефович Михаил Владимирович (1802—1889) — археолог, друг А. Пушкина.

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Роды литературы

эпос	лирика	драма
эпические произведения	лирические произведения	драматические произведения

В пределах каждого рода выделяется множество видов, которые называются жанрами.

В эпосе — эпопея, былина, сказка, роман, повесть, поэма, рассказ, очерк, басня.

В драматическом роде — трагедия, комедия, драма.

В лирике — стихотворение, романс, послание, элегия.

Баллада

Баллада возникла в европейской поэзии в Средние века первоначально во Франции и была хороводной песней (слово «баллада» — ballade происходит от ballar — плясать).

В Германии баллада также была сначала лирической хороводной песней, но затем приняла лироэпическую форму. Ее сюжет составляли сказания, легенды или античные мифы.

В Англии в основу баллад легли фантастические, легендарно-исторические или бытовые события. Таковы баллады о справедливом народном герое Робине Гуде, о подвигах рыцарей, о великодушии и коварстве людей, о любви и смерти, о мертвецах.

В России народные баллады — это лирические песни на исторические или бытовые сюжеты («Ванька-ключник», «Сестра и братья-разбойники», «Конь и сокол», «Горе»). Из народной поэзии баллада перешла в литературу. Создателем самостоятельного литературного жанра баллады в русской поэзии был В. А. Жуковский. Им написано около сорока баллад. Среди них оригинальные («Светлана», «Двенадцать спящих дев», «Эолова арфа») и переводные («Людмила», «Лесной царь», «Кубок», «Суд Божий над епископом» и другие). После Жуковского баллада прочно вошла в русскую литературу. Несколько баллад написано А. С. Пушкиным («Песнь о вещем Олеге», «Жених», «Утопленник», «Гусар»), М. Ю. Лермонтовым («Три пальмы», «Воздушный корабль», «Пленный рыцарь», «Морская царевна» и другие). В дальнейшем мы встречаем балладу у А. Фета, А. К. Толстого и многих других русских поэтов XIX века.

Жанр баллады заметно обновили русские поэты XX века: С. Есенин, Э. Багрицкий, И. Уткин, Н. Рыленков, Р. Рождественский.

В целом баллада представляет собой лирическое стихотворение с напряженным, острым сюжетом. Герои в балладе вступают в конфликт (спор, разногласие, столкновение) друг с другом, с самой судьбой, т. е. внешними, неподвластными им силами.

Таким образом, сюжет в балладе может быть и легендарным, и историческим, и фантастическим. Баллада нередко содержит моральный урок и несет поучительный смысл. Например, в балладе Пушкина «Песнь о вещем Олеге» столкновение князя и кудесника намекает на конфликт между земным владыкой и вдохновенным пророком.

В. Коровин

Вопросы и задание

■ Расскажите о балладах, их возникновении, особенностях, героях. Нравится ли вам этот жанр? Какие баллады вы читали самостоятельно?

Драма, драматическое произведение, диалог

Д р а м а (*гр.* drama — действие). Обычно пьесы предназначены для постановки на сцене, и поэтому в них многое рассчитано на исполнение игрой актеров, декорациями, музыкой.

Свое отношение к героям драматург раскрывает через их слова и поступки.

Средствами характеристики действующих лиц в драме являются развернутые высказывания одного лица — м о н о л о г и, разговоры двух или нескольких лиц — д и а л о г и, короткие р е п л и к и, т. е. пояснения, которыми автор пьесы сопровождает ход действия в пьесе.

Диалог мы встречаем и в рассказах, повестях, но там диалог встречается лишь время от времени, в драме диалог — основное средство изображения жизни. В диалогах проявляется борьба, напряженное взаимодействие героев. Р е м а р к и — авторские замечания — могут давать сведения о возрасте, внешнем облике персонажей, а также их душевном состоянии, движениях, жестах, интонациях. Перед актами, сценами (вспомним сцену в Чудовом монастыре из «Бориса Годунова» А. С. Пушкина) в ремарках даются описания места действия, обстановки.

При чтении пьес нужно воображать, мысленно представлять себе героев пьесы в подсказанной ремарками обстановке, видеть их в живом действии.

У истоков европейской драмы были древнегреческие трагики — Эсхил, Софокл. Особый расцвет драма получила в XIX—XX веках. Назовем некоторых авторов русской драмы: А. Пушкин, М. Лермонтов, М. Булгаков, А. Вампилов и др.

Вопросы и задание

■ Что такое драма и какие драматические произведения вам известны? Какими вы представляете себе сцену в Чудовом монастыре и ее героев? Прочитайте эту сцену по ролям.

Поэма

П о э м а (*гр.* poiēma — делаю, творю) — крупное стихотворное произведение эпического, повествовательного или лирического характера.

Первоначально поэмы были эпическими («Одиссея» и «Илиада» Гомера) или историко-героическими («Петр Великий» М. В. Ломоносова). Затем поэмы приобрели новый вид: в них усилились черты лиризма, и они уже стали не эпическими, а лироэпическими произведениями. Таковы поэмы Байрона, Пушкина, Лермонтова и т. д. Теперь в поэмах соединяются черты произведений повествовательных, эпических (сюжетность, отражение жизни в виде повествований о героях и событиях) и лирических (открытое выражение чувств автора, героя).

Так, в «Песне про купца Калашникова...» рассказывается о столкновении Калашникова с царским опричником Кирибеевичем, а затем и с самим царем. О событиях повествуют и гусляры, которые воспевают мужество и силу духа Калашникова, рисуют страшную и величественную фигуру царя, со смешанным чувством осуждения и сочувствия говорят о Кирибеевиче. Их устами автор дает оценку происходящему.

Вопрос и задание

■ Дайте определение поэме и назовите известные вам поэмы. Чем интересны для вас их герои?

Герой литературного произведения (литературный герой)

Г е р о е м называют мужественного человека, способного на подвиг или совершившего его, человека, которым восхищаются.

Это слово может иметь и другое, более широкое значение: активный участник тех или иных событий (герой этой истории, этого приключения; герой спортивных состязаний и т. д.). Герой литературного произведения — действующее лицо, персонаж произведения (*лат.* persona — персона, лицо, маска).

Жизнь героев произведения — события этой жизни, размышления героев (и автора) по поводу этих событий, душевные страдания и радости — делают произведение увлекательным и близким читателю. Многое может рассказать о герое обстановка, в которой он живет. Понять настроение героев помогает и пейзаж.

В своей работе над литературными произведениями вы можете пользоваться примерным планом характеристики героя литературного произведения (*гр.* charakter — черта, особенность). Этот план поможет вам сосредоточивать внимание на главном при обдумывании своей оценки героя, отношения к нему.

Примерный план характеристики героя литературного произведения

1. Место, занимаемое героем в произведении. 2. Общественное и семейное положение героя; обстановка, в которой он живет. 3. Манера держаться, внешность, особенности костюма. 4. Речь героя. 5. Поступки, особенности поведения, деятельности, влияние на окружающих. 6. Понимание героем целей жизни, его основные интересы. 7. Чувства литературного героя, его отношение к другим действующим лицам. 8. Отношение других действующих лиц к данному герою. 9. Отношение автора к герою и значение героя в раскрытии идеи произведения.

Вопрос и задание

1. Какой из героев прочитанных в этом году произведений показался вам особенно интересным?
2. Расскажите об одном из героев Пушкина или Лермонтова, Бунина или Платонова (на выбор), опираясь на предложенный план.

Юмор, сатира.
О смешном в литературном произведении

Давайте поговорим еще раз о смешном в произведении, о задаче, которую выполняет смех... Но разве смех может «выполнять задачу»? Ведь смех — это просто когда смешно! Верно. Однако смех смеху рознь, и писателю вовсе не безразлично, каким смехом будет смеяться читатель.

Смех бывает веселый, добрый, и тогда мы называем его юмористическим.

К произведениям юмористическим можно отнести хорошо вам известные стихи С. В. Михалкова о дяде Степе. Мы смеемся над тем, как дядя Степа «разыскивал на рынке величайшие ботинки», «разыскивал штаны небывалой ширины». Нам смешно, например, когда старый Тарас Бульба начинает «биться на кулаки» с сыновьями, только что возвратившимися домой после долгой разлуки, т. е. в минуту, которая, по нашим представлениям, должна быть торжественной и трогательной.

А бывает смех злой, гневный — сатирический. Он зовет людей к протесту, пробуждает презрение к персонажу или явлению, вызывает негодование. Жизненное зло отзывается в душе писателя острой болью, которая отражается в сатирическом произведении...

Сатирическое произведение у вдумчивого читателя всегда вызывает не только смех, но и грустное чувство или чувство возмущения, потому что писатель-сатирик разоблачает явления, мешающие счастью людей.

Чтобы писатель лучше понял то, что кажется автору особенно важным, писатель-сатирик обычно не рассказывает обо всех подробностях жизни героев, а все время старается выделить в их жизни и характерах самое главное. В генералах из сказки Салтыкова-Щедрина — это тунеядство, паразитизм, стремление присвоить себе плоды чужого труда, а в мужичке — умение работать и темнота, отсутствие протеста против своей тяжелой судьбы.

Преувеличение (гипербола) и гротеск помогают писателю беспощадно высмеять социальное зло, воздействовать на душу читателя.

Смешное, или, как чаще говорят в науке о литературе, комическое, возникает, когда писатель хочет показать какую-то несообразность, какое-то несоответствие, иногда даже нелепость в жизненных явлениях, в отношениях людей, их поведении. Мы смеемся, когда некрасивое во что бы то ни стало хочет представить себя прекрасным, ничтожное, мелкое — высоким, слабое — сильным, неинтересное — интересным, глупое — умным и т. д.

Смеясь, обличая и гневно протестуя против социальной несправедливости, пороков людей, мастера смеха, писатели проникаются огромным сочувствием и любовью к человечеству, простым людям, несправедливо угнетаемым, отстаивают высокие идеалы добра и справедливости.

По Э. Ю. Цюрюпе

Вопросы и задания

1. Какие эпизоды из сказок, повестей, прочитанных вами в классе и дома, вызвали у вас веселый, добродушный смех? Против чего были направлены эти «веселые стрелы смеха»?
2. Приведите примеры гиперболы и гротеска из «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» или «Дикого помещика». Объясните их значение для текста сказок Салтыкова-Щедрина.
3. Какую роль выполняет смех в художественном произведении? Назовите авторов юмористических и сатирических произведений, известных вам.
4. Подготовьте чтение одного из сатирических или юмористических произведений Салтыкова-Щедрина или Чехова к школьному вечеру юмора и сатиры.

Публицистика

Публицистика (*лат.* publicus — общественный) — это книги, статьи, заметки, обзоры, рецензии, интервью, корреспонденции, очерки, которые освещают актуальные, злободневные вопросы и показывают явления общественной жизни.

Публицист рассказывает о современных проблемах, разъясняет, убеждает, обличает, призывает к действию, агитирует, пропагандирует. Вот почему в публицистических произведениях сочетаются особенности научного сочинения, ораторская речь и непринужденная живость разговорной речи. В сочинениях выдающихся публицистов мы найдем образные выражения, метафоры, сравнения.

Художественные образы в публицистике не внешнее украшение, они неразрывно связаны с размышлениями. Являясь произведениями искусства, публицистические произведения выполняют и практическое назначение. Так, в освещении жизни деревни необычайно важна роль произведений Г. Троепольского, Ю. Черниченко и других авторов, которые публицистически остро подняли вопросы сельской жизни. К молодежи обращена книга Д. С. Лихачева «Земля родная».

Вопрос и задание

- На что обращает наше внимание Д. С. Лихачев и чем интересны его наблюдения? Подготовьте рассказ публицистического характера о своем родном крае.

Автобиогра́фия (*гр.* autos — сам, bios — жизнь, grapho — пишу) — литературно-прозаический жанр, описание автором собственной жизни. Литературная автобиография — попытка вернуться в собственное детство, юность, воскресить и осмыслить наиболее значительные отрезки жизни и жизнь как единое целое.

Аллего́рия (*гр.* allēgoria — иносказание) — иносказательное изображение предмета, явления с целью наиболее наглядно показать его существенные черты.

Аллитера́ция (*лат.* ad — со, littera — буква, т. е. собуквие) — повторение однородных согласных звуков, придающее литературному тексту особую звуковую и интонационную выразительность (например: «В сто сорок солнц закат пылал...» — В. В. Маяковский).

Амфибра́хий (*гр.* amphi — кругом, brachys — краткий) — трехсложный размер стиха с ударением на втором слоге (— ⏑ —).

Ана́лиз произведения в литературоведении (*гр.* analysis — разложение, расчленение) — исследовательское прочтение художественного текста.

Ана́пест (*гр.* anápaistos — отраженный назад, обратный дактилю) — трехсложный размер стиха с ударением на третьем слоге (— — ⏑).

Аннота́ция — краткое изложение книги, рукописи, статьи.

Антите́за (*гр.* antithesis — противоположение) — противопоставление образов, картин, слов, понятий.

Архаи́зм (*гр.* archâios — древний) — устаревшее слово или словосочетание, грамматическая или синтаксическая форма.

Афори́зм (*гр.* aphorismos — изречение) — обобщенная глубокая мысль, выраженная в лаконичной, краткой, художественно заостренной форме. Афоризм сродни пословице, но в отличие от нее принадлежит определенному лицу (писателю, ученому и т. д.).

Балла́да (*прованс.* ballar — плясать) — стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое событие, предание с острым напряженным сюжетом. (См. подробнее во второй части раздела.)

Ба́сня — краткий нравоучительный стихотворный или прозаический рассказ, в котором есть аллегория, иносказание. Действующими лицами в басне чаще всего выступают животные, растения, вещи, в которых проявляются, угадываются человеческие качества и взаимоотношения. (Басни Эзопа, Лафонтена, А. Сумарокова, И. Дмитриева, И. Крылова, пародические басни Козьмы Пруткова, С. Михалкова и др.)

Беллетри́стика (*фр.* belles lettres — изящная словесность) — в широком смысле слова — художественная литература, в более узком — художественная проза, в отличие от поэзии, драматургии.

Белый стих (*англ.* blank verse) — нерифмованный стих, появился в XVI веке (например, так написан «Борис Годунов» А. С. Пушкина).

Бестсе́ллер (*англ.* best — лучший и sell — продаваться) — книга, имеющая особый коммерческий успех, пользующаяся читательским спросом.

«Библиоте́ка поэта» — серия книг, посвященная творчеству крупнейших поэтов, отдельным поэтическим жанрам («Русская баллада», «Русские былины» и др.). Основана серия М. Горьким в 1931 году.

Би́блия (*гр.* biblia — буквально «книги») — собрание древних текстов религиозного содержания.

Были́на — жанр русского фольклора, героико-патриотическая песня о богатырях и исторических событиях. (См. статью в разделе, посвященном этой теме.)

Во́пленицы (плакальщицы) — исполнительницы причитаний (И. Федосова, М. Крюкова и др.).

Герой литерату́рного произведе́ния, литературный герой — действующее лицо, персонаж литературного произведения. (См. подробно во второй части данного раздела.)

Гипе́рбола (*гр.* hyperbolē — преувеличение) — чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета. Вводится в ткань произведения для большей выразительности, характерно для фольклора, поэзии романтизма

и жанра сатиры (Н. Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, В. Маяковский).

Гротéск (*фр.* grotesque, *итал.* grottesco — причудливый, от grotta — грот) — предельное преувеличение, основанное на фантастике, на причудливом сочетании фантастического и реального.

Дáктиль (*гр.* dactylos — палец) — трехсложный размер стиха с ударением на первом слоге (–́ — —).

Двусло́жные стихотво́рные разме́ры — ямб (— –́), хорей (–́ —).

Детáль (*фр.* détail — подробность) — выразительная подробность в произведении. Деталь помогает острее и глубже представить читателю, зрителю время, место действия, внешний облик персонажа, характер его мыслей, почувствовать и понять авторское отношение к изображаемому.

Приведите примеры важных деталей в изученных произведениях Гоголя или Чехова, Горького или Платонова.

Диало́г (*гр.* dialogos — разговор, беседа) — разговор двух или нескольких лиц. Диалог — основная форма раскрытия человеческих характеров в драматургических произведениях (пьесах, киносценариях).

Дрáма (*гр.* drama — действие) — произведение, предназначенное для постановки на сцене. (См. подробно во второй части данного раздела.)

Жанр (*фр.* genre — род, вид) — вид художественного произведения, например басня, лирическое стихотворение, повесть.

Завя́зка — событие, знаменующее начало развития действия в эпических и драматических произведениях.

Зву́копись в стихосложе́нии — то же, что система звуковых повторов, подобранных с расчетом на звукоподражание.

Идéя (*гр.* idea — идея) — основная мысль художественного произведения.

Инве́рсия (*лат.* inversio — перестановка) — необычный порядок слов. Инверсия придает фразе особую выразительность.

Интервью́ — предназначенная для печати беседа (журналист и писатель, ученый и студент и пр.).

Интерпрета́ция (*лат.* interpretatio — объяснение) — истолкование литературного произведения, постижение его смысла, идеи.

Интона́ция (*лат.* intonare — громко произношу) — выразительное средство звучащей речи. Интонация дает возможность передать отношение говорящего к тому, что он говорит.

Ирóния (*гр.* eironeia — притворство, насмешка) — выражение насмешки.

Компози́ция (*лат.* compositio — составление, соединение) — расположение, т. е. построение, произведения.

Крылатые слова — широкоупотребительные меткие слова, образные выражения, известные изречения исторических лиц.

Кульмина́ция (*лат.* culmen (culminis) — вершина) — момент наивысшего действия в художественном произведении.

Культу́ра речи — уровень речевого развития, степень владения нормами языка.

Леге́нда (*лат.* legenda — буквально «то, что следует прочесть») — произведения, созданные народной фантазией, где сочетается реальное и фантастическое.

Лéтопись — памятники исторической прозы Древней Руси, один из основных жанров древнерусской литературы.

Литературове́д — специалист, изучающий закономерности историко-литературного процесса, анализирующий творчество одного или нескольких писателей.

Литературове́дение — наука о сущности и специфике художественной литературы, о закономерностях литературного процесса.

Метáфора (*гр.* metaphora — перенос) — переносное значение слова, основанное на сходстве или противопоставлении одного предмета или явления другому.

Моноло́г (*гр.* monos — один и logos — речь, слово) — речь одного человека в художественном произведении.

Неологи́змы (*гр.* neos — новый и logos — слово) — слова или словосочетания, созданные для обозначения нового предмета или явления, или индивидуальные новообразования слов.

Ó́да (*гр.* ōdē — песня) — торжественное стихотворение, посвященное какому-то историческому событию или герою.

Олицетворе́ние — перенесение человеческих черт на неодушевленные предметы и явления.

Описа́ние — вид повествования, в котором изображается картина (портрет героя, пейзаж, вид комнаты — интерьер и пр.).

Пейза́ж (*фр.* paysage, от pays — местность) — картина природы в художественном произведении.

По́весть — один из видов эпического произведения. Повесть больше по объему и охвату жизненных явлений, чем рассказ, и меньше, чем роман.

Подте́кст — подспудный, неявный смысл, не совпадающий с прямым смыслом текста.

Портре́т (*фр.* portrait — изображение) — изображение внешности героя в произведении.

Посло́вица — краткое, крылатое, образное народное изречение, имеющее поучительный смысл.

Поэ́ма (*гр.* poiēma — творение) — один из видов лироэпических произведений, для которых характерны сюжетность, событийность и выражение автором или лирическим героем своих чувств.

При́тча — небольшой рассказ, иносказание, в котором заключено религиозное или моральное поучение.

Про́за (*лат.* proza — прямая, свободно движущаяся речь) — литературное нестихотворное произведение.

Псевдони́м (*гр.* pseudos — вымысел, ложь и onyma — имя) — подпись, которой автор заменяет свое настоящее имя. Некоторые псевдонимы быстро исчезали (В. Алов — Н. В. Гоголь), другие вытеснили настоящую фамилию (Максим Горький вместо А. М. Пешков), даже передавались наследникам (Т. Гайдар — сын А. П. Гайдара); иногда псевдоним присоединяется к настоящей фамилии (М. Е. Салтыков-Щедрин).

Публици́стика (*лат.* publicus — общественный) — род литературы и журналистики, рассматривает актуальные политические и экономические проблемы. (См. подробнее во второй части раздела.)

Развя́зка — один из элементов сюжета, заключительный момент в развитии действия в художественном произведении.

Расска́з — небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких событиях в жизни человека.

Реце́нзия — один из жанров критики, отзыв на художественное произведение с целью его оценки и разбора. Отзыв содержит некоторые сведения об авторе произведения, формулировку темы и главной мысли книги, рассказ о ее героях с рассуждениями об их поступках, характерах, взаимоотношениях с другими лицами. В отзыве отмечаются и самые интересные страницы книги. Важно раскрыть и позицию автора книги, его отношение к героям, их поступкам.

Ритм (*гр.* rhythmos — такт, соразмерность) — повторение каких-либо однозначных явлений через равные промежутки времени (например, чередование ударных и безударных слогов в стихе).

Рито́рика (*гр.* ritorike) — наука об ораторском искусстве.

Ри́фма (*гр.* rhythmos — соразмерность) — созвучие окончаний стихотворных строк.

Романти́зм, романтический — направление в литературе, проникнутое стремлением показать в ярких образах высокое назначение человека (например, М. Горький. «Старуха Изергиль»).

Сати́ра (*лат.* satira от satura (lanx) — буквально «смесь, всякая всячина») — беспощадное, уничтожающее осмеяние, критика действительности, человека, явления (сатира М. Салтыкова-Щедрина).

Сравне́ние — изображение одного явления с помощью сопоставления его с другим.

Сре́дства худо́жественной вырази́тельности, или художественные средства (например, аллегория, метафора, гипербола, гротеск, сравнение, эпитет и др.), помогающие нарисовать человека, событие или предмет ярко, конкретно, наглядно.

Стихотворе́ние — написанное стихами произведение, преимущественно небольшого объема, часто лирическое, выражающее душевные переживания.

Стихотворение в прозе — один из видов лирических произведений в прозаической форме. Обладает такими признаками лирического стихотворения, как небольшой объем, эмоциональность, бессюжетная композиция (например, стихотворения в прозе И. С. Тургенева).

Строфа́ (*гр.* strophē — поворот) — группа стихов (строк), составляющих единство. Стихи в строфе связаны определенным расположением рифм.

Сюже́т (*фр.* sujet — предмет, содержание, событие) — ряд событий, описанных в художественном произведении, положенных в его основу.

Те́ма (*гр.* thema) — круг жизненных явлений, изображенных в произведении; круг событий, образующих жизненную основу произведения.

Траге́дия (*гр.* tragōdia — буквально «козлиная песнь») — вид драмы, противоположный комедии, произведение, изображающее борьбу, личную или общественную катастрофу, обычно оканчивающуюся гибелью героя.

Трехсло́жные стихотво́рные разме́ры — дактиль (́ — —), амфибрахий (— ́ —), анапест (— — ́).

Устное народное творчество, или *фолькло́р*, — искусство устного слова, создаваемое народом и бытующее в широких массах. Наиболее распространенные виды фольклора — пословица, поговорка, сказка, песня, загадка, былина.

Фанта́стика (*гр.* phantastikē — способность воображать) — разновидность художественной литературы, в которой авторский вымысел простирается до создания вымышленного, нереального, «чудесного» мира.

Хо́кку (хайку) — трехстишное лирическое стихотворение в японской поэзии.

Хоре́й (*гр.* choreios от choros — хор) — двусложный размер стиха с ударением на первом слоге (́ —).

Худо́жественное произведе́ние — произведение искусства, изображает события и явления, людей, их чувства в яркой образной форме.

Цита́та — дословная выдержка из какого-либо текста или дословно приводимые чьи-то слова.

Эзо́пов язык (от имени древнегреческого баснописца Эзопа) — особый вид письма, иносказание (например, эзопов язык произведений Салтыкова-Щедрина).

Экспози́ция (*лат.* expositio — изложение, объяснение) — обрисовка положения действующих лиц, в котором они находятся до начала действия.

Эле́гия (*гр.* elegeia, от elegos — жалобная песня) — стихотворение средней длины, обычно печального содержания, проникнутое грустью.

Эпигра́мма — короткое сатирическое стихотворение, зло высмеивающее какое-либо лицо или общественное явление.

Эпи́граф (*гр.* epigraphē — надпись) — короткий текст, помещаемый автором перед текстом сочинения и выражающий тему, идею, настроение произведения.

Эпизо́д (*гр.* epeisodion — буквально «вставка») — относительно самостоятельная единица действия произведения, отрывок (фрагмент), в котором говорится о законченном событии, происшествии.

Эпи́тет (*гр.* epitheton — буквально «приложенное») — образное определение предмета, выраженное преимущественно прилагательным.

Эссе́ (*фр.* essai — попытка, проба, очерк) — прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу.

Ю́мор (*англ.* humour — нрав, настроение) — изображение героев в смешном виде. Юмор — смех веселый и доброжелательный.

Ямб (*гр.* iambos) — двусложный размер с ударением на втором слоге (— ́).

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА

Иван Алексеевич Бунин 3
В творческой лаборатории И. А. Бунина 5
Цифры 8

Максим Горький 19
Из воспоминаний и писем... 20
...Из писем М. Горького Павлу Максимову 21
Детство *(В сокращении)* 22
Данко *(Отрывок из рассказа «Старуха Изергиль»)* 84

Леонид Николаевич Андреев 89
Люди и книги . . . . . —
Кусака 91

Владимир Владимирович Маяковский 100
В творческой лаборатории В. В. Маяковского (Из воспоминаний) 102
Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче 106
Хорошее отношение к лошадям 110

Андрей Платонович Платонов 113
Юшка 115
В прекрасном и яростном мире 123

Борис Леонидович Пастернак 139
В творческой лаборатории Б. Л. Пастернака . . 140
«Никого не будет в доме...» 141
Июль 142

Александр Трифонович Твардовский 144
Из воспоминаний об А. Т. Твардовском 146
Уроки Твардовского 147
«Снега потемнеют синие...» 148
«Июль — макушка лета...» . . . . . —
«На дне моей жизни...» 149

Час мужества
Интервью с участником Великой Отечественной войны Юрием Георгиевичем Разумовским о военной поэзии 150

Федор Александрович Абрамов 159
О чем плачут лошади 160

Евгений Иванович Носов 168
Из автобиографии . . . . . —
Кукла 170
Живое пламя 176

Юрий Павлович Казаков 180
Писатели и критики о рассказах Ю. П. Казакова 181
Тихое утро 182
Из рассказа Ю. Казакова «О мужестве писателя» 196

Дмитрий Сергеевич Лихачев 197
Земля родная *(Главы из книги)* 198

Писатели улыбаются 205
Михаил Михайлович Зощенко . . . . . —
Беда 207

«Тихая моя Родина...»
(Стихотворения о родной природе) 212
Валерий Яковлевич Брюсов
Первый снег 214
Федор Сологуб
«Забелелся туман за рекой...» 215
Сергей Александрович Есенин
«Топи да болота...» 216
Николай Алексеевич Заболоцкий
«Я воспитан природой суровой...» 217
Николай Михайлович Рубцов
Тихая моя Родина. 218

Песни на стихи русских поэтов XX века 220
Инна Анатольевна Гофф
Русское поле . . . . . —
Булат Шалвович Окуджава
По Смоленской дороге 222

Александр Николаевич Вертинский
Доченьки 223

Из литературы народов России 225
Расул Гамзатов . . . . . —
«Земля как будто стала шире...» *Перевод Я. Козловского* 227
Из цикла «Восьмистишия». *Перевод Н. Гребнева* —

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Роберт Бёрнс 228
Честная бедность. *Перевод С. Маршака* 230

Джордж Гордон Байрон 233
Ты кончил жизни путь, герой!.. *Перевод А. Плещеева* 234

Японские трехстишия (хокку) 235
Мацуо Басё. *Перевод В. Марковой* 238
Кобаяси Исса. *Перевод В. Марковой* 239

О. Генри 241
Дары волхвов. *Перевод Е. Калашниковой* 242

Рэй Дуглас Брэдбери 249
Радость писать 251
Каникулы. *Перевод Л. Жданова* 254

ПОРАБОТАЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Итоговые вопросы и задания 263
Прочитайте летом 265
На пути к выразительному чтению 268

СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Литературные места России 272
Словарь имен 278
Справочные материалы по теории литературы 284
Роды литературы . . . . . —
Баллада . . . . . —
Драма, драматическое произведение, диалог 286
Поэма 287
Герой литературного произведения (литературный герой) . . . . . —
Примерный план характеристики героя литературного произведения 288
Юмор, сатира. О смешном в литературном произведении 289
Публицистика 290

Краткий словарь литературоведческих терминов 292

Учебное издание

ЛИТЕРАТУРА

7 класс

Учебник
для общеобразовательных учреждений

В двух частях

ЧАСТЬ 2

Автор-составитель
КОРОВИНА Вера Яновна

Зав. редакцией *В. П. Журавлев*
Редактор *Е. И. Правоторова*
Художественный редактор *А. П. Присекина*
Художник *Ю. В. Христич*
Технический редактор *О. Е. Иванова*
Корректоры *Е. Г. Терскова, В. М. Гончар*

Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—953000. Изд. лиц. Серия ИД № 05824 от 12.09.01. Подписано в печать с диапозитивов 04.11.08. Формат 60 × 90$^{1}/_{16}$. Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 15,43 + 0,42 форз. Тираж 50 000 экз. Заказ № 27546.

Открытое акционерное общество «Издательство «Просвещение».
127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41.

Отпечатано в ОАО «Саратовский полиграфкомбинат».
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 59.
www.sarpk.ru

* * *

Догорел апрельский светлый вечер,
По лугам холодный сумрак лег.
Спят грачи; далекий шум потока
В темноте таинственно заглох.

Но свежее пахнет зеленями
Молодой озябший чернозем,
И струится чище над полями
Звездный свет в молчании ночном.

По лощинам, звезды отражая,
Ямы светят тихою водой,
Журавли, друг друга окликая,
Осторожно тянутся гурьбой.

А Весна в зазеленевшей роще
Ждет зари, дыханье затая, —
Чутко внемлет шороху деревьев,
Зорко смотрит в темные поля.

И. А. Бунин



И. И. Левитан. «Большая вода»

ЛИТЕРАТУРА



ISBN 978-5-09-021121-5

ПРОСВЕЩЕНИЕ